

В
Е
С
И



ЛИТЕРАТУРНАЯ



В
Е
С
И
№1,
2013

КОЛЛЕКЦИЯ



ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РОССИИ.
ЗАБАЙКАЛЬЕ

ВЕСИ

№1(87) 2013
январь–
февраль

В гостях у журнала «Веси»
литературно-художественный журнал
«Слово Забайкалья»

СОДЕРЖАНИЕ

Заповедные места России	1-80
<i>Владимир Дагуров</i>	
«Это не просто простор, а раздолье!»	82
<i>Ким Балков</i>	
Исповедь	83
Шаман-камень	89
<i>Борис Макаров</i>	
За стеной стучал сапожник	99
Жили-были две Калуги	103
<i>Олег Петров</i>	
Дневник	111
Особенности классного руководства	115
Вечерние осады	118
<i>Зинаида Лобачёва</i>	
Лариска-крыска	125
Бомжиха	129
Кеша	132
<i>Владимир Гагаркин</i>	
Заговорённый	138



«ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОСТОР, А РАЗДОЛЬЕ!»

От впечатления прочитанного приходит на ум эта поэтическая строка. Вернее, не на ум, а в душу. Кажется, что рассказы забайкальских авторов, собранные воедино в этой подборке, соткали многоцветную радугу сегодняшнего бытия. При всём разнообразии художественных приёмов их объединяет пристальное внимание к судьбам своих героев.

Неспроста первая же фраза у каждого из рассказчиков начинается с упоминания имени действующего лица: «Вначале стукача мы называли Стукачом...» (Борис Макаров); «Закончилась лекция, и две однокурсницы Наташа и Ксюша...» (Зинаида Лобачёва); «На звонок открыла Надежда Васильевна...» (Олег Петров); «Арсений Бородулин, мужчина лет пятидесяти...» (Ким Балков) и т.д.

Как тут не вспомнить мудрость вечную: «Мера всех вещей – человек». Даже если этот человек – «бомжиха» из одноимённого рассказа коренной забайкалки Зинаиды Лобачёвой – без слёз нельзя дочитать о трагедии и стойкости светлой души.

Особенность этой подборки рассказов сибирских авторов – в неповторимой интонации каждого из них. Тут нашлось место и публицистически острому взгляду Бориса Макарова на общественные сдвиги «после сталинской эпохи», и лирическо-психологическому «Дневнику» Олега Петрова, и фантастическому рассказу молодого автора Владимира Гагаркина.

Особое место в подборке забайкальских писателей занимают рассказы самого именитого, пожалуй, автора Кима Балкова, с которым меня сводила литературная судьба в Москве, в общежитии Литературного института.

Предлагаемая подборка рассказов – яркое подтверждение талантливости забайкальских писателей в современной российской прозе.

*Владимир ДАГУРОВ,
член Союза писателей России*





Ким БАЛКОВ,

родился в 1937 году в станице Большая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия. Окончил Иркутский государственный университет. Член Союза писателей России с 1971 года. Автор более двадцати книг прозы, которые увидели свет в местных и центральных издательствах. Его произведения печатались на страницах журналов «Москва», «Смена», «Сибирские огни», «Новая книга России», «Роман-журнал XXI век», «Байкал», «Сибирь». Лауреат Государственной премии Бурятии (за книгу рассказов «Небо моего детства»), лауреат премии Иркутской области (за романы «Будда», «Час смертный», «Идущие во тьму»), а также лауреат премий ряда российских журналов. Роман «За Русью Русь» удостоен Большой литературной премии России. В 2001 году К.Н.Балков стал победителем международного конкурса «Новая русская книга». В последние годы писатель работает над книгой рассказов «Звёзды Подлеморья», посвящённой людям, живущим на берегах озера Байкал.

ИСПОВЕДЬ

Арсений Бородулин, мужчина лет пятидесяти, длиннолицый, с острым подбородком, обильно заросшим густым рыжим волосом, с толстыми синюшными, как если бы отмороженными губами, неторопливо шёл по узкой каменистой тропке, уцепившейся за вихлястый горный ручей. У него были маленькие круглые глазки, не в меру суетливые, перебегающие с одного предмета на другой, хотя в этом вроде бы не было никакой нужды. Он изредка останавливался и с напряжённым вниманием, как если бы чего-то опасаясь, вглядывался в серый дневной сумерек. А он и впрямь опасался встречи с медведем, появившимся в здешних местах совсем недавно. Хозяина тайги видел однокашник Бородулина, кряжистый седоголовый мужик с длинными чёрными руками, про которые на поселёе сказывали, что они дивно загребущие. И, видать, не зря сказывали. На подворье у Василька Тимонина, так звали бородулинского однокашника, можно было отыскать и малую худобу, без которой не обойтись в хозяйстве. Глаза у Василька во всякую пору сияли ласково. В их тихой синеве каждый мог уловить надобное себе, а чаще ту доброту, по которой многие нынче скучали. Вызывало удивление, что эти глаза принадлежали человеку настырному и в худшую для себя минуту не забывающему про свой интерес. А ведь многое из того, что пылилось на тимонинском подворье, ему самому-то было не нужно. Впрочем, чего же тут худого? Просто мужику глянулось нести на своё подворье всё, что не покажется стоящим. Ну, привычка у него такая. И ничего с нею не поделаешь. Коль скоро он возвращался после обхода

окрестностей (в самом-то поселёе уж всё подчистую прибрано им, тут и завалищего гвоздя теперь не найдёшь) с пустыми руками, падало у него настроение ниже нулевой отметки. Про эту отметку он вчера, потемну прийдя к Бородулину, сказывал, называя однокашника, как в школьные годы, когда тот только мечтал поехать в город и попытаться поступить в какой-либо вуз, Ксюхой, хотя чувствовал, что тому это не больно-то нравилось.

Почёсывая широкую волосатую грудь, Тимонин говорил:

– Чё делать-то? Мне и самому иной раз неловко волоочь на своё подворье всякую разъедрень? Но вот беда, ежели не приволоку чего, такая тоска, Ксюха, нападает, хоть волком вой.

Бородулин попервости удивился, что кто-то ещё помнил, как его звали в школе, а потом разобиделся, сказал запальчиво:

– Какой я тебе Ксюха?!

Тимонин тоже удивился, но не шибко. Сказал примирительно, блестя глазами:

– Ну, ладно, ладно. Не буду! Эка ты распёрло. А раньше ничё, не обижался.

– То раньше, – буркнул Бородулин.

– Ну и чё скажешь про мою беду?.. – едва ль не жалобно спросил Тимонин.

– А ничего, – буркнул Арсений. – Продолжай маяться дурью. Тебе не привыкать.

Так вот, Василёк Тимонин трёхведни ходил на голец, где росла черемша, там и повстречал медведя. Ну, повстречал да повстречал, мало ли что?.. Да вот напасть – медведь-то вдруг ловчить начал: то наперёд забежит и сядет на землю, пересекши тропу, и глядит угрю-

мо на человека, как если бы угрожая напасть на него, хотя зачем нападать-то: сытый же, шкура-то на нём аж лоснится, – а то затаится в чащобе и долго носа не кажет. Но только подумаешь: «Ну, наконец-то, умотал, кажись, восвояси, окаянный», как он выскочит из чащобы с рёвом. Тут уж у самого смелого челюсть «отвалится».

Бородулин не опасался встречи с медведем, тому нынче и впрямь не резон ссориться с человеком, всё же не хотел бы столкнуться с ним лицом к лицу. Вот и вглядывался в серую пелену дня иной раз с немалым напряжением, отчего досадовал на себя. Но досадовал легко и ненапористо, словно бы даже понарошку.

Арсений приехал в посёлье неделю назад. Отчего-то нестерпимо потянуло на отчину. И он не сумел совладать с этим чувством и, отпросившись на работе, сел на электричку. Долго не мог понять, что с ним происходило, отчего на сердце сделалось беспокойно, и уж не радовало, что в институте складывалось всё, как надо, и дома, слава Богу, наладилось: жена перестала пилить его, если даже он запаздывал. Кажется, наконец-то, поняла, что и ему иногда хочется побыть одному ли, со случайными ли знакомыми (друзей-то у него не было), и уж не ругала последними словами, если даже он приходил домой далеко за полночь. Бог не дал им детей, хотя они и прилагали к этому усилия. Ну, не получалось, и всё тут. Хорошо ещё, что не укоряли друг друга, как если бы понимали: это не поможет, а только внесёт в семейные отношения разлад. Впрочем, супруги едва ли задумывались об этом. Привыкли если и не понимать близкого человека с полуслова, то угадывать его намеренья, а нередко и желания, старались помочь, если это требовалось кому-либо из них, не делая над собой усилия, а коль скоро что-то не получалось, не отчаивались и, в конце концов, добивались своего. Впрочем, случалось и по-другому. И тогда супруги ссорились и подолгу не хотели знаться ни с кем, как если бы в размолвке были виноваты и те, кто жил рядом с ними. Забавная у них выработалась привычка: винить в неурядье кого угодно, только не близкого человека. Потому-то соседи нечасто заходили к ним, избегали и короткого общения с ними. А что же супруги, неужели не замечали, как люди относятся к ним, и не старались поменять в себе? В том-то и дело, что не старались. Не считали нужным.

Вот в чём супруги сошлись твёрдо, так это в нежелании иметь дело с чужими людьми. Да и со своими, пожалуй, тоже... Но много ли было своих-то? Где-то на севере тянул лямку племяш. Приезжал в прошлом году, пожил маленько у них и уехал. Видать, не поглянулось в чужом городе. Ну, имелась ещё у супруги сестра. Но она, кажется, ни разу не выезжала из посёлья. Жила с престарелой матерью и с сыном-алкоголиком в стареньком покосившемся пятистеннике по соседству с большим бородулинским домом.

Отец у Арсения был справный мужик, от работы не бегал, имел хозяйство немалое, надеялся, что сын пойдёт по его стопам. Но вышло по-другому. Сын не унаследовал от отца ни здоровья, ни крепости духа.

После смерти родителей и вовсе сделался как бы не от мира сего: подолгу просиживал в избе, листая книги, а их у него накопилось немало: отец одобрял сыновнюю тягу к знаниям, – а то уходил из дому, захватив с собой пару-другую удочек, и пропадал с утра до ночи на море. Хозяйством не занимался, как если бы даже не замечал, что у него там творилось, на подворье-то. Быть бы худу, когда б не русоволосая крепенькая девица, соседка Бородулина. С нею у Арсения вроде бы складывались какие-то отношения, хотя он про это почти не задумывался: приходил с погулянок, тут же брал в руки книжку и – начисто забывал про то, что ему идти на свидание. И не вспомнил бы, да девушка напоминала.

Придя к нему в избу, старалась навести в комнатах какой ни то порядок. Чуть погода увидела, в каком бедственном положении находилась домашняя скотина, поругала хозяина и, не мешкая, принялась и тут наводить порядок. И, надо сказать, неплохо у неё получилось. Коровы перестали беспокойно бродить по подворью, наматывая на крутые прясла потливые шерстяные комья. И козы сделались не так пакостливы, уж не открывали дверь в избу круторогими лбами и не лезли к столу, как прежде.

А потом... А что потом? Однажды Бородулин проснулся, глядь, а под боком у него женщина посапывает. Не сразу понял, с чего бы она оказалась в родительской кровати?.. Но чуть погода до него дошло, что это жена, его жена.

Он не сразу решил, ладно ли это, нет ли, – ну, то, что он взял да и женился? А что, разве нельзя было обойтись без этого?.. Долго ломал голову, но так ни до чего не додумался.

Арсений встал нынче на таёжную тропу не просто так, без всякой задней мысли, как нередко бывало раньше, но с какой-то определённой целью. Правда, про неё он теперь начисто запамятовал. Так тоже не однажды случалось с ним. И он не мог ничего с этим поделаться, что-то поменять в себе. Он так и не вспомнил, для чего вышел нынче из дому. Брёл сначала по таёжной тропе, которая, обволакиваемая утренним туманом, низко зависшим над землёй, была мокрой и зыбистой, часто терялась в белом мареве. И тогда Бородулин вытягивал руки, на ощупь обшаривал зависавшие над тропой тяжёлые ветки и удивлялся, отчего те так холодны: лето-то в самой поре. Но удивление скоро пропало, заместо него появилось щемящее чувство близости к чему-то светлому и ясному, о чём вроде бы уже успел позабыть. Впрочем, не совсем... И оттого, что это было так, а не как-то иначе, на сердце сладко защемило, а потом сделалось мучительно жаль чего-то. Может статься, того, что затерялось в прошлом и уж не вернётся, даже если бы сильно захотел.

Где-то тут протекал горный ручей, и он с пацанами нередко бывал в этом распадке. На берегу ручья они разводили костерок, а потом сидели возле него до позднего вечера и сказывали друг другу байки чаще про лесного лешего, который вдруг да и выходил из своего жилища на тропу, дожидаясь кого-либо и по-

том долго водил путника по чащобам и громко смеялся над ним. Чудной леший-то! Вроде бы ничего худого не делал людям: ну, побалует маленько, да и отстанет, – всё ж пацаны не советовали встречаться с ним хотя бы и нечаянно.

Арсений силился отыскать старую разлапистую берёзу, возле которой тропа сворачивала к ручью, но не мог, и уж подумал, что прошёл то место, когда рука нащупала что-то колючее, а вместе мягкое и влажное. И, ещё не видя той берёзы, он понял, что не ошибся, и тихонько спустился к ручью.

Небо меж тем мало-помалу освободилось от облаков. И вот уж обозначилось глубокой синевой и искрящими солнечными лучами. Они в последний момент прямо-таки выметнулись из-за гольца, нетерпеливые, как если бы наскучали в ночной неволе. С каждой минутой лучи крепили, становились длиннее, и вот уж завладели ближним лесным околотком.

Распадок ожил. В березняке заверещали малые птицы. Где-то неспешно и как бы даже с ленцой зацокал бурундук. Кукушка пока вяловато, должно быть, не отойдя от ночной дрёмы, принялась отсчитывать то ли кем-то прожитые годы, то ли те, что ещё предстояло отмерить. В небе завис, широко раскидав серебряные крылья, белохвостый орлан. Вытянув шею, что-то выглядывал на земле. Должно быть, добычу. Но, может, и не так вовсе. И никакой добычи орлан не выглядывал. Ему вполне хватило куропатки, которая не далее как вчера потемну имела несчастье попасть ему в когти. А поднялся он в небо только для того, чтоб облететь свои владения и порадовался тому, как велики они и сколь богаты разным зверем. И ему не надо шибко напрягаться, чтобы насытиться.

Во всяком случае, так подумал Арсений, наблюдая за парящим в утреннем небе орланом. Чуть погодя он склонился над бурлящей ручьевою водой, силясь разглядеть в ней нечто близкое по давешним временам, хотя и не сказал бы, что именно. Всё вроде бы так далеко отодвинулось от него, что и не ухватишь за хвост. Тогда почему после того, как увидал на илистом дне затёртые до тусклого блеска острогрудые валунки, защемило на сердце? Изловчась, дотронулся до них рукой и тотчас ощутил под ладонью охлаждающую во всём теле привычную по прежним летам стылость, а вместе и тихую, как бы даже скрывающуюся от самой себя радость, и... вспомнил. Он вспомнил, почему любил ходить к лесному ручью. Ну, конечно же, было по душе наблюдать промеж донных камней иную, несходную с людской, чистую, ничем незамутнённую, как бы даже прозрачную жизнь. Та жизнь нравилась тем, что ничего для себя не требовала, удовлетворяясь малым. Он мог подолгу смотреть, как рыскали по каменистому дну, разрывая илистое покрывало, сребротелые рыбки. Случалось, опускал в воду руку, и рыбки проскальзывали меж пальцев, и малой робости не замечалось в их поведении. Были всё так же шустры и пронырливы, порой заводили игру, выпрыгивали из воды и взблескивали в солнечных лучах.

Арсений, увлечшись, не заметил, когда к нему подошёл Василёк Тимонин. Тот подошёл и остановился у Бородулина за спиной, с явным интересом в жгучесиних глазах наблюдая за своим давним, по школьным летам ещё, приятелем, который всё так же держал руку в ручье. По тому напряжению, которое отметилось в широком лице Тимонина, было видно, что он ждал от приятеля чего-то необычного, чуждого ближнему миру. Но, может, даже не чуждого, а чего-то такого, что сказало бы: и впрямь перед ним нынче Бородулин, Ксюха, как его звали раньше, должно быть, за мягкосердечие и чрезмерную, едва ль не на каждом шагу проявляемую доброту, от которой многих подташнивало. В том числе и его, Василька Тимонина. Ему тоже попервости говорили, что у него добрые глаза. Но потом перестали, это когда он показал, кто он есть на самом деле. Вынудили, чего там!.. На самом-то деле, он и вправду не злой вовсе, хотя и не такой, как Арсений, и умеет постоять за себя. Это Бородулину зачем-то надо было хватать пацанов за руку, когда те выцеливали из рогаток зазевавшуюся ворону, иль вмешиваться в их забавы, когда пацаны, словив на «путях» змею, норовили забить её камнями?.. «Он чё, ненормальный? Может, поучить его маленько, авось одумается?..» Случалось, и поколачивали, да толку-то?.. Проходил день-другой, и всё повторялось сначала. Упрямый оказался, хотя по виду-то этого не скажешь.

Тимонин терпеливо дожидался, когда Арсений выкинет чего-либо. Не дождался. Крякнул досадливо, поднеся чёрную широкую ладонь ко рту.

Бородулин вытащил из воды руку, обернулся, сказал со смущением:

– А, это ты?..

– Я... Кому же ещё быть-то? – буркнул Василёк.

А потом не утерпел, стал говорить про то, что нынче беспокоило. А беспокоило Тимонина то, что соседи начали проявлять недовольство им. Уже давно не нравилось, что он несёт на своё подворье всё, что ни попадя. Но молчали. Да, видать, всякому терпению приходит конец. И вот вчера припёрлись к нему и давай лазать по закуткам и ворчливо говорить, как у него на подворье дурно пахнет. Да ладно бы, только у него... Дух-то разносит по всему околотку. Скоро, поди, дышать станет нечем. Под конец Васька Рыжий, криворотый мужик с круглой бородавкой заместо носа, болеющий за всё поселье разом, на собраньях, коль таковые случаются, первый говорун, сказал, набьчась:

– Ты вот чё, паря, прибири-ка во дворе, повыкидывай чего ни то. Сделай так, чтоб не воняло. А не делаешь, башку свернём набок.

– А я чё? – горестно развёл руками Василёк, пытаясь втянуть в разговор старого приятеля. Но Арсений словно не слышал, и лицо у него оставалось всё такое же напряжённо счастливое, а вместе слегка смущённое.

– Я, почитай, всю ночь не спал и думал про соседей: ну, пошто такие вредные?.. Опять же... Может, сходить в соседний улус к бурятам? Есть у меня там

знакомый табунщик. Может, попросить лошадку?.. Ты как, Ксюха, считаешь?

Бородулин поморщился:

– Ну, чего ты всё одно по одному: Ксюха да Ксюха.

А я уж давно не Ксюха.

– Это я по старой привычке. Извиняй!

Арсений вздохнул, спросил:

– А лошадь-то зачем?..

– Ну, чтоб вывести со двора навоз. И впрямь поднакопилось там.

– Ну, тогда, конечно.

Бородулин поднялся на ноги, а потом, чуть помешкав, начал разгребать золу в кострище, словно бы намереваясь найти что-то. А он и впрямь хотел бы отыскать нечто, что сказало бы о давних летах, когда он с пацанами сиживал на берегу ручья. Ему повезло. В золе выкопал мягкий, обуглившийся ободок от тележного колеса. Повертел в руках, сбивая с хрупкого железа окалину, сказал, блестя глазами, чуть дрогнувшим, слегка осипшим голосом:

– Никак от нашей дворовой тележки? Помнишь, катались вон с той горки, связав пару тележек? Ты за красного командира был, а я за рулевого.

– Кто, ты, чё ли, за рулевого?.. – хмыкнул Василёк. – Не-е... Такого не помню.

Арсений обиделся. Опустил глаза долу. На пухлых розовых щеках выступил лёгкий румянец. Толстые синие губы округлились бантиком.

Василёк заметил перемену в настроении школьного приятеля, заметно приободрился, сказал, усмехнувшись:

– А ты всё такой же, как и раньше. Чуть чё, в пухырь лезешь. Одно слово, Ксю... – Но тут же и спохватился, прикрыл рот рукой: – Всё. Не буду больше. Вот те крест!..

Помолчал, морща круглый низкий лоб, как бы собираясь с мыслями, спросил:

– А ты чё приехал-то? По нужде иль как?..

Арсений вздохнул, чуть погодя сказал негромко:

– Иль как, пожалуй... Вдруг тоска навалилась, и ни к чему-то уж не тянуло. Всё опостылело. Жена, видать, заметила перемену во мне и предложила взять отгул на работе да съездить куда-нибудь, ну, хотя бы на Байкал, проветриться, подкрепить нервышки. «А то глядеть на тебя тошно». Ну, я подумал-подумал и согласился с нею. Всё равно терять нечего.

– Это как понимать?

– А так и понимать. – Но тут же и оборвал себя, сказал как бы даже виновато: – Что-то со мной стало происходить в последнее время. Я как сбился с лесной тропки и теперь бреду густым чернолесьем, и не знаю, выйду ли из чащобы.

– Мудрёно баешь.

– Какая тут мудрость? – Вздохнул: – В электричке встретил священника. Разговорился с ним. Он оказался из нашей церковки. Звал меня на исповедь. – Помолчал, спросил не без напряжения в голосе: – Ты не знаешь, что это такое – исповедь?..

– А чего знать-то? – хмыкнул Тимонин. – Это когда придёшь в церковь, и там тебя разденут донага. Ну,

не так, чтоб одежду с тела сорвать. По-другому... Но да я и сам-то про это не шибко знаю.

– Я, пожалуй, схожу в церковку. Благо, от нас до неё не больно-то далеко. Вёрст пять, пожалуй.

Тимонин недовольно покачал головой:

– Да на кой это надо? – Подозрительно оглядел Арсения с ног до головы. – Хотя... Чё с тебя взять-то? Ить ты всегда был такой: не разбери-поймёшь, чего у тебя там, на сердце.

Долго сидели на берегу ручья, и теперь уже мало о чём говорили, как если бы не о чем было сказать. Но вот Тимонин поднялся на ноги:

– Ну, двинули, что ли? Нам, кажись, по пути будет. Ты в церковку, а я в улус к приятелю. Авось не откажет и даст лошадку-то. Ты после полудня загляни ко мне. Подсобишь.

Они спустились к Байкалу, а потом долго шли по каменистому берегу, наблюдая за тем, как, взблескивая в нешибких солнечных лучах, волна, жёлтая от уцепившейся за неё тины, не больно-то резвая, накачивала на бурые камни и, шипя, отступала. Возле береговой косы, обильно заросшей худосочным березняком и тонконогой осиною, пути-дорожки приятелей разошлись. Василёк углубился в ближайший ельник, а Арсений ещё версты две брёл по тропинке, вёртко бегущей меж береговых камней, пока не разглядел на горизонте церковку с розовыми куполами. Тогда и сошёл с тропинки и, шепча что-то несвязное и робостное, потянулся к храму. Долго стоял на паперти, не решаясь войти в церковку. Может, так и не вошёл бы, когда б настоятель, по какой-то надобности выйдя на подворье, не увидел его.

Настоятель оказался высок ростом, румянолицый, с большой, изрядно поседевшей бородой, хотя лет ему было примерно столько же, сколько и Бородулину. Он подошёл к Арсению, сказал участливо:

– Ну, чего ты? Заходи... Я скоро буду.

Скрылся за углом.

Но Арсений ещё не скоро набрался смелости и последовал совету настоятеля. Был он в этой церковке лишь однажды ещё пацаном. Матушка, крадучись от отца, который пуще всего боялся, что скажут люди, коль скоро он сделает что-то не так, почему и избегал верующих, взяла сына за руку и привела в церковку, чтоб тот проникся Божьим духом. Сделала так, как хотела. Однако когда вышли из храма, сняла с шеи сына крестик и спрятала. Арсений до сих пор не поймёт, куда подевался крестик? Впрочем, и после смерти матери он не искал его. Но вот теперь вспомнил, и защемило на сердце, а робость, которая жила в нём, вроде бы стала ещё больше. Всё же в какой-то момент преодолел её и вошёл-таки в церковку.

Там его встретил настоятель и подвёл к алтарю. А потом случилось то, чего Бородулин не ожидал. Он вдруг почувствовал себя совершенно свободным и ни от кого не зависимым, способным сказать и о том, что было спрятано в нём за семью замками, куда и сам-то не всегда имел доступ. Он испытал удивительное чувство, подвинувшее Бог весть к какому порогу. Может, к тому, откуда не будет возврата?.. Но это не пугало,

напротив, взбодряло и наполняло сладостным, по всему телу разлившимся покоем. И это продолжалось всё это время, которое было отпущено на исповедь.

Арсений, осмелев, сказал и о том, дальнем и стыдном, о чём было неприятно вспоминать. Не то, чтобы это угнетало, скорее, отторгалось его теперешней сущью.

– ...Знаешь, батюшка, сколько помню, мне всё время казалось, что я живу не так, как надо бы, как мог бы жить, если бы поменял в себе. Но я не умел этого сделать. Что-то мешало. Может, робость, которая не оставляла ни на минуту. Нередко случалось так, что я улыбался человеку, которого терпеть не мог, заискивал перед ним.

Помню, был у нас в классе забияка, ко всем задибался, но никогда не получал сдачи. Никто не мог устоять перед ним. И я тоже... Может, я-то в первую голову. Он не успевал подойти, как в душе переворачивалось, и я виновато глядел на него и ждал, что он скажет. Скажет: «Дёрни за косу вон ту девицу. Да так, чтоб запомнила и не задирала нос», – я, не мешкая, делал, что он велел. Это ж он назвал меня Ксюхой. Думаю, от желания унижить. И я ничего... стерпел, хотя и возненавидел его. Мог бы ввязаться в драку: выглядел он не крепче меня, – но что-то выросло в душе, какая-то преграда, и я не мог преодолеть её.

Я и своего руководителя кафедры возненавидел, когда тот урезал премию. До сих пор не пойму, почему? Ведь я работаю не хуже, чем другие. Думаете, я сказал об этом? Нет, конечно. Не сумел преодолеть ту самую преграду, которая стала частью меня. Если не самой главной, то очень важной.

Мне иногда кажется, что и женился-то я из-за того, что побоялся обидеть свою одноклассницу. Когда однажды она сказала, что хотела бы стать моей женой, я только улыбнулся и виновато опустил глаза. Она это приняла за моё согласие. И через два года мы поженились. А ведь в те поры мне нравилась другая. Но была она гордая и независимая, и я так и не осилил в себе робость, не подошёл к ней.

Вот такой я... Могу принять всё, что угодно, даже если это обращено против меня. Может, поэтому с годами я стал избегать людей, и у меня совсем не осталось друзей. Впрочем, может, их никогда и не было?..

Так, или примерно так, говорил Арсений, глядя в добрые и как бы облитые тихой, в себе самой, грустью глаза настоятеля. Во всяком случае, выйдя из храма, он хотел бы думать, что так и было. Впрочем, было и другое. В какой-то момент душа Арсения и вовсе открылась встрече священнику, стала легка и прозрачна, и малой утайки не отыщешь на дне её. И как было приятно сознавать себя частью Божьего мира, подчиняться всему, что исходило оттуда и наполняло сердце радостью! Но не той, что, случалось, являлась раньше, другой, о которой и помыслить не мог. Она была огромной, как небо, и чистой, как вода в горном ручье, упавшем со скалы. И то ещё дивно, что ничего не требовала для себя, удовлетворяясь тем, что сохраняла в своём естестве. Она просто пребывала в душе Арсения и ни к чему не подталкивала, мяг-

кая и сияющая. И он трепетно прислушивался к ней и хотел бы сказать, как хорошо у него на сердце, хотя то, о чём говорил, смущало. Но сказал о другом.

– А знаешь, батюшка, – сказал он, – Мне иногда кажется, будто я живу чужой жизнью. И в те поры делаюсь сам не свой: хожу неприкаянный по тесной городской квартирке, спотыкаясь на каждом шагу, а то выйду на улицу и долго брожу, едва ли что-то видя перед собой. И такая тоска наваливается – выть охота.

– Грешно, напускать на себя тоску, – негромко сказал батюшка. – Надобно учиться преодолевать её.

– Пробовал. Не получается. У меня много чего не получается. Но это не огорчает. Иной раз говорю себе: «Ну и ладно, что не склеилось. В другой раз склеится. Пойдём дальше». А куда идти-то, батюшка? Вроде бы все дороги передо мной закрыты. А если бы вдруг открылась иная из них, я ступил бы на неё?.. Сомневаюсь. Что-то произошло со мной, отчего сделалось всё безразлично.

Спрашиваешь, когда это началось? Да, пожалуй, лет пять назад. Тогда и те из людей, кто ещё был интересен мне, стали говорить о деньгах. Сначала – вскользь, с неохотой, но с каждым днём всё уверенней и спокойней. Я-то раньше думал, что деньги интересуют только мою жену. Но вот увидел, что не только её, и – затосковал. Перестал общаться даже с теми, кто был близок мне по духу. Хотя... О чём это я, батюшка? О какой близости говорю? Разве была она? Да, нет, пожалуй. Придумки всё это. Они часто преследуют меня, и я не пытаюсь отогнать их от себя, иду за ними, куда бы те не повернули.

Священник внимательно выслушал Арсения и ни разу не перебил, хотя по его глазам было видно, что он находился в недоумении. И это понравилось Бородулину. Он, может статься, и замолчал бы, если бы священник как-то выказал своё неприятие того, о чём он говорил, иль даже лёгкую, ни к чему не подталкивающую досаду. Но этого и в помине не было. Только недоумение, которое мало-помалу переросло в нечто большее, может, в жалость. То и взбодрило Арсения, наполнило какой-то не знакомой раньше силой. Ах, если бы он мог в прежние годы опереться на неё! Разве это не помогло бы крепче встать на ноги и не смотреть на окружающий мир со смущением, а нередко и с робостью, не зная, чего ещё ждать от него?

– Иногда тянет выкинуть что-нибудь, отчего люди заговорили бы обо мне и стали бы указывать на меня пальцем. А я стоял бы и усмехался, глядя им в глаза. Но подобное желание недолго удерживается во мне, исчезает, стоит увидеть кого-либо из знакомых. И тогда опять делается на сердце пусто. Чаще всего, так: пусто и одиноко. И даже пощёлки жены не могут вывести меня из этого состояния. Но, может, эти пощёлки ещё больше отодвигают от жизни? Была бы возможность убежать подальше, я обязательно воспользовался бы ею. Что же делать? Как быть?..

Он спросил и тут же почувствовал, что и человек, облачённый в священническое одеяние, сидящий напротив него, не знал ответа. Тем не менее, когда тот

сказал: «Всё в руках Божьих, сын мой, и надобно уметь ждать...» – Арсений охотно согласился. «Да, конечно! Нужно научиться ждать. Пожалуй, это то, чего мне не хватает».

После исповеди Арсений какое-то время оставался в церковке. Подойдя к алтарю, он низко склонил перед ним голову, а потом поднёс ко лбу руку и стал молиться. Он делал это впервые, но, надо сказать, не почувствовал неуверенности, которая вроде бы должна была появиться. Напротив, трепетное чувство, что зародилось во время исповеди и теперь переполняло его, будто бы даже окрепло...

До позднего вечера Арсений просидел в родительском доме, прислушиваясь к себе и радуясь тому, что в нём совершалось. Он так упорно хотел этого, что, когда это пришло к нему, по первости растерялся. Судя по всему, настоятель во время исповеди заметил перемену в его настроении и постарался успокоить страждущего. И это удалось. Растерянность мало-помалу отступила, и Арсений почти поверил, что зародившееся в нём ощущение сопричастности к чему-то большому и ясному, отчего он перестал чувствовать свою ненужность в мире, теперь так и пребудет в нём.

А потом он вспомнил про обещание помочь Васильку Тимонину и встал с табуретки, вышел на крыльцо. Долго стоял и смотрел, как над морем висели облака, а промеж них скользили, опираясь на длинные чёрные крылья, белоголовые орланы. Случалось, орланы разрывали облака в клочья. Но, может, и не так вовсе, и Арсению только показалось, что так: уж больно приятно наблюдать за крылатым парением огромных чёрных птиц. Он бы ещё долго стоял и смотрел, увлечшись, но надо было идти: привык держать слово, – и Арсений пересёк отчее подворье, которое изрядно пообносилось: вон и жерди в заплоте повывлазили, и низенькая, плетёная из черёмуховых веток калитка скособочилась. Ему бы теперь занять себя на своём подворье, а он потащился на окраину посёлка, где стояла изба Василька Тимонина, изрядно просевшая: земля тут мягкая, зыбистая, чуть что, страгивалась с места и покачивалась. Пахло гнилью, которая окутывала избы и амбары, уцепившиеся за длинный холмистый распадок, скатывающийся к морю. Арсений почувствовал себя и вовсе не в своей тарелке, когда оказался на подворье однокашника. Подворье было завалено разными железьяками и тёсинами, гниющими, чаще неошкуренными обрезьями. Жуткая вонь зависала над ним. И он по первости чуть не задохнулся и не сразу понял, откуда идёт этот запах. А когда понял, удивлён был невероятно. Неужели хозяин, который держал корову и пару поросят, так и не сообразил, что за домашней скотиной требуется каждодневный уход? Арсений и подумать не мог, что Василёк Тимонин, кого считали, как, впрочем, и его отца, в прошлогодье отошедшего в иной мир, знатным хозяином, не забывающим про свой интерес и в худшую для себя минуту, способен всё так запустить. «Это глупо – дальше некуда», – подумал Бородулин, пребывая в лёгкой растерянности и досаде.

С грехом пополам, перешагивая через корни, вывороченные из земли, через толстые ветви почерневших деревьев, непонятно зачем согнутые в три погибели и брошенные наземь, Арсений добрался-таки до того места, где Тимонин загружал в телегу всё, что попадало под руку.

– Ну, ты даёшь, – сказал, подойдя и утирая со лба толстые капли пота, изрядно огрузневшие от духоты, висящей в воздухе. – Как же ты умудрился так испоганить двор?.. Хотел бы я знать, через какие ворота ты запускаешь в стайку корову?

– У меня ещё одни ворота есть, – хмыкнул Василёк. – С огорода. Через них и запускаю.

Он вроде бы даже не удивился вопросу Бородулина.

– Ну, а коровьи лепёхи зачем надо было раскидывать по двору?

– Э, тут, паря, своя история, – медленно, со значением произнося слова, сказал Василёк, положив большую чёрную руку на круглую потную шею пеганки. – Ты же видишь, избы в околотке стоят на болотах. Дедам надо было сначала засыпать их, а уж потом поднимать дома. Не дотумкали. А может, тогда болота были не так сильны? Ну, короче, надумал я поднять грунт, потому и стал разбрасывать навоз по подворью. Прошёл год, другой... И никакого толку. Болота не отступали.

– Ах, вот оно что! Теперь ясно, откуда этот ужасный запах, – сказал Бородулин. – Ну, ты даёшь! Где это видано – осушать болота навозом?! Не зря взбунтовались твои соседи. Я бы рядом с тобой и дня не прожил.

– Ну, ты-ы!.. – обиделся Тимонин. – Ты, конечно, не прожил бы... Учёный муж, мать ти!..

– Да какой я учёный? – досадливо отмахнулся Бородулин. – Так себе, ни рыба ни мясо.

Разошлись далеко за полночь. Арсений плёлся заулками, едва передвигая вусмерть уставшие ноги. Но на душе было по-прежнему хорошо и... чуток тревожно, как если бы то, что снизошло на него во время исповеди, выказало свою недолговечность. Но нет же, ничего подобного! Но тогда почему на сердце то и дело пощипывало, подталкивало к чему-то смутному, никак не обозначенному в ближнем пространстве.

А потом случилось то, чего он боялся. Неожиданно в голову пришла шальная мысль: «А почему я ни с того ни с сего заговорил в церковке о том, о чём никогда никому не говорил? Чего меня понесло-то?» Придя домой, скинул с себя старую кожаную куртку, дурно пахнущие сапоги, отнёс в чулан. Налил в круглую фарфоровую чашку холодного чаю. Долго сидел за узким кухонным столом и всё прислушивался к себе, прислушивался, и на длинном, загорелом, с рыжими оспинками возле ушей, остроносом лице недоумение сменялось досадой, а потом и обидой – непонятно на кого, но, скорее, на себя за то, что он такой нескладный, всё чего-то выискивающий даже там, где и не надо бы ничего искать. «А что, если священник, ведь и он человек, и наверняка не без слабостей, расскажет кому-либо о том, что услышал? Нет, я, конечно,

понимаю: сказанное на исповеди является строгой тайной. Ну, а вдруг? Мало ли куда повернёт человека...»

И понесло, и поехало, и уж не остановить было того неладного, что нечаянно свалилось на Арсения. Теперь уже он, как если бы запомнил о том, что наполнило душу чудным светом, подчас думал: «А может, Тимонин прав, и зря я дал раздеть себя донага?» Но тут же и обрывал вносящее в душу смуту, говорил, что это всё от лукавого, и кому ещё верить, как не человеку в священническом одеянии? В какой-то момент вспомнил, какая у него была лёгкая и добрая рука! Стоило закрыть глаза, сразу же ощутил тепло, исходящее от неё.

Арсений пребывал в смятении. И, когда показались, что уж не совладать с ним, разгульным и дерзким, прошёл в комнату и, не раздеваясь, лёг на кровать, раскидав руки.

И был сон. Станный какой-то. Порой опускал его в чёрную бездну, откуда, казалось бы, нет возврата, а то возносил высоко-высоко, так что у Арсения начи-

нала кружиться голова. А потом приснилась бабка Фёкла, она умерла, когда ему было семь лет. И сказала бабка Фёкла тихим, чуть только слышным голосом, приблизив к нему своё маленькое веснушчатое лицо, на котором одни глаза и светились:

– Под матрасом, в изголовье, в своё время я спрятала иконку Божьей матери. Ты отыщи её и помолись. Глядишь, и полегчает, и всё дурное отступит от тебя. Сомнётся. И на душе, надо быть, посветлеет.

Арсений откинул одеяло, проснувшись. И был удивлён, обнаружив под матрасом старенькую, изрядно потёртую иконку. Долго разглядывал её, ощущая в теле обжогший его трепет, и радуясь, и удивляясь, а потом поставил иконку в красный угол на полочку: «Тут она, пожалуй, и стояла, пока бабка Фёкла не спрятала её. Больше нигде». Чуть погодя, помолвившись, Арсений почувствовал, как то, что недавно ещё измучивало душу, отступило и вновь отметилось на сердце дивное чувство слиянности с Божьим миром. Но долго ли пребудет в нём? Кто скажет?..

ШАМАН-КАМЕНЬ

1.

Был улус как улус, с плоскими крышами низкорослых изб, с широкими просторными подворьями, где прятались в тени бревенчатые остроглавые юрты да разные хозяйственные строения: стайки для коров, узенький, крытый брезентом загон для овец. Чуть в стороне притулился небольшой огородец, засаженный пахучими листьями табака и зелёного многолетнего стручкового лука. Улочки в улусе прямые и в малости неискривлённые, как если бы избы ставлены были в строгом соответствии с намётками первооткрывателя здешней степи прозванием Амгалон, человека неглупого, склонного соблюдать порядок во всём. Жил он в баргутской долине в начале прошлого века. У него не сложились отношения со старейшинами рода: им не поглянулось, что Амгалон норовил всё делать по-своему. И невесту привёз из чужих мест, и противно тому, что говорил здешний шаман, взял её, чужеродную, в жёны.

По слову служителя ближних и дальних духов, пожить молодым в отчем улусе, который в те поры кочевал в предгорьях Саян, не дали. Прогнали... Тогда-то они, поплутавшие по разным местам, уставшие от неудачных попыток приткнуться к какому-либо баргутскому роду: вести разносились по долине шибче ветра, и никто не хотел принять молодых под своё крыло, – оказались в голой степи, выжженной палящим солнцем, обильно изрытой суслицыими норами, и Бог весть почему, но, скорее, от отчаянья: податься-то больше было некуда, – сварганили тут юрту.

А через десять лет в предгорьях Саян проснулась земля, растолкалась, сминая юрты и ломая русла белоспанных горных речушек. Иные из них были завалены сорванными с ближних скал острогрудыми ка-

меньями. Смертно напуганные земным неустройством, сородичи Амгалона спустились в долину и... изрядно помыкавшись, выбрали на то место, где он поставил юрту, вокруг которой теперь бегали голопузые ребятыньки.

Надо сказать, и до сородичей Амгалона доходили слухи о том, что, очутившись волей судьбы в голой степи, молодые люди не пали духом, оказались упорны и терпеливо сносили все напасти. А их, однако, хватало. То вдруг посреди ясного дня в самую середку лета небо становилось чёрным, черней ночи, а с предгорьев Саян налетал лютый ветер и срывал крышу с юрты, а то нападала такая жара, что овцы в загоне, уморённые большим солнцем, лежали влётку, и выгнать их в степь не представлялось никакой возможности. И в лютые зимы много чего случалось. Правда, уже не надо было гонять овец на водопой, где в малой сосновой рощице, зажатой степным неуглядьем, укрылось обильно заросшее камышом не то озерко, не то болотце, вода в котором постоянно высыхала. Хватало снега. Порой и юрта, и загон для скота утопали в белых сугробах.

Время года свершилось дивное, сладкой радостью лёгшее на сердце. Однажды посреди степи вблизи того места, где молодые подняли юрту, видать, по велению добрых духов, пробился из-под земли шустрый ручей. Светлоокый, прозрачный. А потом озерко образовалось, как бы даже само собой, не подталкиваемо со стороны, и уж отпала нужда возить воду с дальнего, вёрст семь до него будет, окрайка, запрягши в таратайку худотелого конька, который года три назад притащился на слабых ногах к порогу Амгалоновой юрты. Конёк, видать, отбил от табуна по причине скудости здоровья в изношенном теле и нипочём не

хотел уходить отсюда. Чудно было и то, что никто не справлялся о нём. Видать, списали бедолагу за ненадобностью. Много ль с него возьмёшь-то, худонного? А новый хозяин, чего ж, был рад и ему. По первости кормил чуть ли не с руки, водил упирающегося всеми четырьмя ногами, люто упрямого в степь и подолгу просиживал на солнцепёке, глядя, как лениво, с неохотой конёк прибирал мягкую сочную травку. То и ладно. Через пару-другую месяцев конёк очухался. В глазах зажглось что-то проворное, озорно взбрыкивающее. «Ишь ты, – дивовался на животину Амгалон. – Конёк-то с характером, хотя и зажатый болезнью. Но ничего, коль скоро проявят милость боги, прогоним её...»

Так и случилось, и сделался конёк первым помощником Амгалону. Молодуха заметно повеселела, а чуть погода почувствовала себя не одинокой посреди голой степи, а надобной ещё кому-то, хотя бы тем же духам. Теперь она часто ходила к озерку, нередко и без какой-либо надобности и гляделась в воду, как в зеркало. И, чего уж тут, нравилась себе.

И уж вовсе наладилось в жизни молодухи и её мужа, когда сородичи повинились перед ними и поставили свои юрты рядом с их жилищем, а шаман сделался тих и спокоен и повёл себя так, как если бы не по его слову в своё время молодые люди, полюбившие друг друга, были изгнаны с отчины. И хорошо, что так. Иль надо помнить про каждую обиду?..

Через малое время Амгалон начисто запамятовал про то, что в своё время пробежало меж ним и сородичами, и помог им освоиться на новом месте. И за порядком следил, пока старейшины не пришли в себя после долгого скитания по безводной степи. Это ж по его слову юрты были ставлены в линию в равном удалении друг от друга. Выглядел где-то, надо думать, в русских сёлах и решил, а чем мы-то хуже, нам тоже надобен какой-никакой порядок. Много лет спустя, когда Амгалон и его жена перекочевали в другой мир, подле юрт, не ломая их порядка, люди начали возводить дома.

Про это Аюна не раз и не два слышала от соседей и радовалась, что в улусе по сию пору помнили её прадедушку. Не знала только про то, что Амгалон и его жена первыми поселились в здешней степи. Она много чего не знала про родичей, да и про себя тоже. Порой хотела бы что-то поменять тут, однако поменять было непросто: старые люди всё больше сидели в юртах, обсасывая трубки, набитые крепким осадистым листовым табаком, и редко когда вступали в разговор даже со своими близкими, и мало-помалу спокойно, а иные и с радостью, которая вдруг да и упала на худые, в редких волосёнках, жёлтые лица, уходили в иной, сказывали, куда как благополучный мир, унося с собой всё, что ещё удерживалось в памяти.

Не получалось у Аюны поговорить со стариками. И не только потому, что не хватало времени, куда б делось-то, иль вовсе утратило добрую и нежную ясность – первый признак небесной благодати, и не только потому, что старики, подойдя к черте и понимая про то, что предстояло им и требовало душевного покоя, но никак не взбулгаченности, замкнулись на своих думах, а ещё и потому, что не проявляла на-

стырности, точно бы решила, что у неё ещё будет время, и пошто бы стала поспешать.

Тут надо отметить, что была она девушкой не в меру бойкой и открытой всем ветрам, часто и тем, которых пугалась, однако ж не желала подчиняться даже им, настырным. Нередко, то в одной, то в другой компании, наспех составленной из парней и девчат, слышался её задиристо-шалый смех. Порой Аюна словно бы вовсе утрачивала сдерживающее начало и могла сказать такое, что парням делалось не по себе. К примеру, навыкла ничему, исходящему не от неё, не кланяться, и, бывало, так накручивала парней, что те и вовсе теряли голову, бездумно пускались во все тяжкие. Но то ещё ладно, что умела вовремя остановиться и не перейти черту, за которой ничего путного не жди.

Ей исполнилось девятнадцать лет, и она ещё не научилась управлять собственными чувствами, отчего, случалось, попадала впросак. Где, к примеру, требовалось вести себя спокойно и ровно, всем своим видом показывая, что и ей, подобно соседскому парню, на днях похоронившему отца, всё-то немило и тягостно, вдруг ни с того ни с сего начинала улыбаться, и ладно бы, только улыбаться, ан нет, норовила сделать так, чтоб люди увидали, как хорошо у неё на сердце. А то, опять же вроде бы случайно, в пору всеобщего веселья становилась грустной и то и дело вытирала платочком слёзы, которые почему-то именно в эти минуты катились из глаз обильно и горячо.

Ах, если б Аюна понимала, отчего так-то?.. Отчего нередко люди косились на неё и говорили промеж себя чуть слышно: «И пошто девка такая, словно бы с полки упала?..» Но никто и не пытался заглянуть в душу. Может стать, если бы кто-то постарался понять её, Аюна поменяла бы что-то в себе. Но в том-то и беда, что сделать это было некому. Отец с матерью, погнавшись за длинным рублём, пятнадцать лет назад уехали из улуса и жили в городе в рабочем предместье и редко когда приезжали в улус, а бабушка Дулма уже плохо видела маленькими, точно бы застывшими в недвижении тёмными глазками и, кажется, соображала тоже плохо; нередко сказывала и про то, о чём девушке ещё не полагалось знать, но чаще о чём-то смутном и неугадливым, расталкивающим на сердце. И непросто было Аюне отторгнуть смутившее. Но, в конце концов, она таки настропалилась прогонять замутившее в ней, для чего упрямо, противно тому, что совершалось на сердце, кривя пухлые округлые губы, улыбалась.

Улыбка на смуглом широком лице с длинными иссиня-чёрными глазами выглядела не то чтоб неестественно, а точно бы не принадлежало ей. В эти минуты Аюна тихонько, так, чтоб бабушка Дулма не слышала, подымалась из-за кухонного стола и, сторожко ступая по гнучим половицам, выходила на подворье и уж там давала волю чувствам. Тихонько, с подвыванием плакала, а потом, вроде бы послушав себя со стороны и удивившись тому, что происходило с нею, и не умея скрыть досады, впрочем, лёгкой, едва примечаемой даже ею, принималась, чудная, смеяться, по первости чуть улавливаемо слухом, а время годя всё громче и громче.

Аюна могла бы уехать в город и жить с родителями, но, выросши в вольной степи, привыкнув к тому, что в родном улусе всё создаваемо ею, хотя зачастую и не принимаемо сердцем, раз-другой окунувшись в сумбурную городскую жизнь и осознав её чужеродность, не пожелала поменять места жительства. Благо, и родители не имели ничего против её намеренья проминать жизнь в степи. Да и пошто бы стали перечить девушке, про которую, выросшую в бабушкиной юрте, мало что знали?.. К тому ж нечего им было предложить дочери, сами ютились в закутье у крутого семейского мужика, который, захмелев, всё грозился прогнать их со двора.

Года два назад Аюна устроилась на почту. Стала привозить письма и посылки из райцентра, когда выпадала оказия. Но чаще приходилось рассчитывать на свои молодые ноги. А ведь у неё был велосипед. В своё время отец разъезжал на нём по заимкам. Случалось, после погулянок его, пребывавшего в полной от мирской суеты отключке, вместе с велосипедом загружали в телегу и отвозили в улус. Теперь отец зашибал деньгу ли, другое ли что-то на городских улицах, а велосипед долгое время стоял во дворе, уткнувшись грязным тупорылым резиновым носом к низенькому полуразвалившемуся сараю, ржавея, пока Аюна не обратила на него внимания. Недолго раздумывала, попыталась оседлать велосипед. В первый день ничего не вышло. И на другой тоже... Получилось на третий день. То-то было радости в девичьем сердце! Ещё бы... Намаялась ходить в райцентр. Это ж вёрст десять будет от улуса. Да и то, если держаться в сухую погоду пыльной, а в мокреть жутко вязкой просёлочной дороги. А ежели ломать ноги, выйдя на тракт, тут раза в два больше будет вёрст-то...

Сказать, что Аюне нравилась её работа, значит, сказать, неправду. Её смущало, что вынуждена заходить на подворья и беспокоить людей, привыкших жить в своём мире, никого не пуская в душу. Но со временем свыклась с тем, чем вынуждена была заниматься, и уж не изводила себя неудобными вопросами, даже если видела, что хозяева ждут не дождутся, когда она покинет их жилище. Впрочем, случалось и по-другому. Это когда оказывалась в юрте, где старики ещё были в своём уме и по-прежнему охотно «коптили небо», хотя уж давно приготовились в дальнюю путь-дороженьку. Вон и тележку сколотили из жердей-затёсин и поставили на неё чёрные гробы, а в них положили разное, пригодное к случаю «смертное бельё».

В юрте Аюну угощали кисловатой арсой и липкими слипшимися леденцами, едва ль не силком усадив за стол, накрытый прохудившейся, с круглыми дырами, скатёркой. Стол обычно стоял у обложенного чёрными камнями задымлённого очага, пахнущего горьким аргалом. А потом долго с откровенно явным напряжением разглядывали девушку узкими подслеповатыми глазками и всё пытали:

– А ты никак правнучка Амгалона?..

И когда Аюна, смущаясь, отчего на щеках появлялся румянец, согласно кивала головой, старики говорили, кто с удивлением, а кто и с нескрываемой ра-

достью, дотрагиваясь до неё худыми искривлёнными пальцами:

– Ладная девка выросла. Амгалон был бы доволен. – Спрашивали: – А как бабушка Дулма, в себе иль уж съехала в придорожную яму, да и не выберется оттуда, и даже внучку не признаёт?..

Аюна, пугаясь, отвечала поспешно:

– Да нет... всё нормально. Она и на подворье выходит, и с барашками возится, а когда приустанет, подолгу сидит на лавочке, греясь на солнышке. Плохо только, глаза худо видят...

Аюна как-то враз свыклась с велосипедом, старательно следила за тем, чтоб колёса были во всякую пору ладно накачаны, и чтоб цепь не слетала, и педали не разболталось. Это удивляло парней, а кое-кого приводило в смущение. Ведь как выстраивалось-то?.. Она и раньше нечасто общалась с ними, порой словно бы даже свысока поглядывала на них, а тут и вовсе отбилась от компании, говоря с ехидной усмешкой на губах, свычной для неё, что она девушка занятая, ей теперь дела ни до кого нету, надо зарабатывать себе на жизнь, а не ждать подсобленья со стороны. Не от кого ждать.

Чудно, право. Как если бы кто-то из ребят бил баклуши. Нет, конечно. В улусе не полодырничаешь. Не дадут.

Но Аюне прощали и не такое, не хотели знать и про то, что она иной раз вроде бы как норовила выделиться из общего ряда и невесть что придумывала... К примеру, могла ни с того ни с сего, как бы обидевшись на что-то иль на кого-то, посреди весёлого разговора замолчать и подолгу пребывать в чужеватой для всех, а кое для кого и пугающей задумчивости. И не подступиться тогда было к ней, хотя кое-кто и пытался. Но, глянув в её, невесть откуда взявшемся холодом обливающие глаза, отходил в сторону, досадливо махнув рукой.

И впрямь углядывалось в ней что-то, чего не наблюдалось в других. Может, поэтому, в конце концов, оставляли её в покое и делали вид, что ничего не случилось, даже когда она в самый разгар праздника вдруг выталкивалась из весёлого ёхорного круга и уходила, не оглянувшись... Её никто не старался остановить, обжёгшись: в глазах у Анюты вспыхивало смутное что-то, тягостное, вроде бы нездешнее. И всяк, кто замечал это, сам спустя время ощущал на сердце гнетущее томление, о причине которого иной раз догадывался, но никому не сказал бы о своей догадке. Она сохранялась в памяти, и он думал, что принадлежала только ему. Но в том-то и дело, что это было не так. Нечто, не до конца создаваемое людьми, сохранялось в каждом в отдельности и никому не мешало, было спокойно и ненастырно, не заявляло о себе на каждом шагу, даже имело склонность теряться в сердечных закоулках. Всё ж и в эту пору каждый, хотя и смутно, ощущал присутствие прежде незнаемого чувства. Ну, как если бы, невесть почему, возникла в теле болячка, правда, не во всякую пору и самим замечаемая, почти не причиняющая беспокойства, никому не подчиняемая, свободная в своём продвижении. Можно бы и

забыть про неё начисто, а нет, почему-то не удавалось этого сделать. И оттого, что не удавалось, и оттого, что на сердце нет-нет да и возникало нечто несреднее с душевным урядом, нельзя было почувствовать себя совершенно спокойным. Вдруг да и думалось посреди веселья или грустного о чём-либо размышления, что он, мнящий себя свободным и ни от кого не зависимым, вынужден подчиняться окаянному, а какому же ещё-то, чувству, которое, разбродное, в кой-то момент посещало его и – ну изводить, ехидненько приговаривая:

– А и ладно. То ли ещё будет-то?!

Подумать только, всё, происходящее нынче в нём, в его душе оттого, что взбалмошная девчонка посмотрела на него не так?.. Ну, скажите, не смешно ли?.. Но тогда почему на сердце не растолкается хотя бы слабая досада, способная прогнать неладное?.. Стало быть, не так уж и смешно то, чему Аюна сделалась причиной. Надо полагать, иначе и не могло быть. Ведь он и прежде замечал во вздорной девчонке, которая живёт, подчиняясь сиюминутному чувству, не задумываясь, что станет с нею завтра, нечто, как бы сошедшее к ней откуда-то свыше. Никому из парней не хотелось бы так думать, а только куда ж денешься-то от тревожных мыслей, что всякий раз появлялись, стоило поговорить с нею. И вот ведь что странно. Парни чувствовали некую отталкиваемость, исходящую от девчонки, гоняющей по здешней степи на велосипеде, а то и неспешно бредущей чернотропьем с большой сумкой через плечо, и не хотели бы лишний раз встречаться с нею, а нет, выходило как раз наоборот, противно тому, что вершилось в душе, нередко искали встречи с нею.

Надо сказать, Аюна чувствовала, как парни относились к ней, и пользовалась этим. Бывало, зазывала то одного, то другого в райцентр, а потом препоручала ему тяжеленную сумку почтальона, сама же, оседлав велосипед, отъезжала, негромко напевая под нос. И, удивительное дело, никто не обижался на неё, словно бы иначе и не могло быть. И даже больше. Кое-кто, если Аюна долго не обращалась за помощью, делался точно бы не в своей тарелке, и в те поры всё валилось у него из рук.

Парни не знали, в чём тут дело, хотя и старались понять. Сказать же прямо, что вздорная девчонка нравилась, не осмеливались. Уж так повелось с самого начала. Вроде бы ни в чём дурном Аюна не была замечена, однако ни у кого из парней не повернулся бы язык сказать нечто идущее от сердечного чувства. Они как бы стеснялись общения с нею, которое тем не менее со временем становилось всё необходимей, хотя и самый слабый не желал признаваться в этом, норывил упрятать подальше то, что нет-нет да и расталкивалось на сердце и щемяще саднило, а при случае мог сказать чуть ли не с осуждением:

– В Аюнку-то словно бы злой дух вселился: и минуты не посидит спокойно, всё суетится и лопочет. Поди, разбери, про что?..

А чуть погода, опять же противно тому, что совершалось в душе, все решили, что от неё в любое время можно ждать и самого худшего, никаким уставом не

определяемого. И богам, наверняка было неведомо, отчего так случилось. Но ведь случилось же, и ничего тут не поделаешь. Да и кто бы стал что-то делать? Парни, привыкши относиться к Аюне с насторожкой, не умели, да и не хотели ничего поменять тут. А ей, кажется, это было по нраву. Дальше – больше, и вот уж она и вовсе отбилась от рук, иной раз, словно бы отвечая на что-то своё, происходящее в ней, говорила небрежно, оглядывая парней, а нередко и девчат:

– О, как же вы надоели мне!..

Сама-то она понимала ли, что ведёт себя не совсем так? Вряд ли... Просто не умела скрывать ничего от людей, потому и сказывала зачастую про то, что не принималось другими, хотя те и старались не обращать на это внимания: подумаешь, чудит девчонка, но да повзрослеет, тогда и станет строже относиться к себе и уж не будет распускать язык.

Догадывалась ли Аюна, что происходит и почему?.. Вряд ли... В последнее время пообвыкла дивно ворочить в душе и радовалась тому, что извлекала оттуда. Но, удивительное дело, теперь уже ни с кем не хотела бы поделиться тем, что открывалось. Даже бабушке Дулме не говорила про это, хотя порой и тянуло поделиться. Что-то удерживало. А попробуй, пойми, что?.. Да ни в жизнь!.. Этакое волнительное и сладостное чувство, ни на минуту не отпускающее от себя и как бы нашёптывающее: «А коль скоро скажешь кому-либо про то, что на сердце, исчезнет диковинное и уж не станет больше появляться».

Аюне нравилось поутру, когда розоволикое солнце только-только подымалось над неоглядной степью и лёгким сквозящим ветерком потягивало от дальних круторогих гольцов, оказаться на вихлястой просёлочной дороге и тихонько, никуда не поспешая, как бы нехотя крутить педали и думать о чём-то дальнем, едва угадываемом, влекущим своей непознанностью. Это удивительно подходило к её душевному состоянию и ни к чему окрест происходящему не подталкивало, а как бы даже уводило от ближнего мира. Впрочем, кое-что в степи иной раз заставляло-таки её отвлекаться от тихих, ни к чему не влекущих размышлений. Это когда, чаще ни с какой стороны не ожидаемо, нечаянно углядывала в ближнем, смурно зависшим на землей, чуть только колеблемом дроглом небе острокрылого, коротко и дерзко взмахивающего крыльями сребротелого ястреба. И был полёт птицы стремителен и напорист, чувствовалась в нём неистраченная природная, отчётливо ощущаемая всеми жилочками души, хлёсткая и безжалостная сила, и – Аюне становилось страшно. Страсть как боялась, что ястреб, сопровождаемый потрёпанным вороньим клином, разорвёт-таки его и камнем падёт на малую желтогордую птаху, которая минуту-другую назад выпорхнула у неё из-под ног и теперь, едва подравняв чуть только взнявшееся над синей степью вялое продвижение, суматошно и бестолково подёргивала короткими пузырьчатыми крыльшками.

То ещё ладно, что ни разу востроглазый ястреб не попытал своей силы: видать, мало ему было птахи, хотелось чего-то другого. Но разве сыщешь в облезлой, как старая побитая верблюжья шкура, даже по-

утру жутко горячей степи, где нынче и рыжие суслики, попрятавшись от жары, не выстраивались, как прежде, близ своих норок остроглавыми живыми столбиками, что-то ещё?.. И ястребу ничего не оставалось, как с переменным успехом накидываться на ворон и вихлясто шибать их острой клювастой грудью. Случалось, иная из ворон, получив трéпку, отпадала от клина, взъерошенная, и долго приходила в себя. Но чаще юркие вороны увёртывались от удара хищной птицы. И ещё какое-то время продолжали преследовать её. Но вот и они отстали. А чуть погодя не стало видать и ястреба. Растворился в жёлтом пространстве.

2.

Вот и в это утро, едва только отпала тревога за беззащитную птаху, Аюна соскочила с велосипеда и присела на ближний, заросший худосочной полынью песчаный ершистый холмик, устало вытянула ноги. А когда жёлтый кругляш солнца завис над её покрытой белой косынкою головой, и малый ветерок, что чуть только обозначается пошевелил хилую никлую траву, а потом захлебнувшись, увял, и сделалось и вовсе душно и нестерпимо жарко, Аюна поднялась с земли и потянулась, разом взмокнув, к берёзовой рожице, которая невеста в какую пору и почему появилась, ребристо-красная, посреди голой степи. Но, надо быть, создателю мира стало жалко людей, обитавших в здешних местах, и он захотел порадовать их хотя бы и низенькими корявыми берёзками. То ещё удивительно, что посередине рожицы однажды потемнел пробился из-под земли шальной родничок. Тоненький, взблескивающий гибкой монгольской саблей, он в зимнюю пору исчезал, но, как только солнце начинало обогревать степь, всякий раз едва ли не в одну и ту же пору выхлёстывал настырной и гибкой, на все лады скулящей струйкой из-под заросшей бурым мхом толстой коряги, ничем не примечательной, однако ж про неё не знал в улусе разве что малец в зыбке.

Аюна часто бывала тут. Присев на корточки, с интересом наблюдала за бойким серебряным движением воды в родничке, и на сердце у неё в те поры было легко и ничем не страгиваемо. Иной раз казалось, она слышит не хлёсткое журчание ручья, а что-то другое, может статься, чей-то голос, про который запятовала, хотя не должна была бы... По всем приметам, это голос человека, что в своё время жил рядом с нею, а потом непонятно почему исчез. Вот именно — не умер, а исчез...

Аюна думала, тот человек даст-таки о себе знать, и она скажет ему о том, что нынче происходит с нею, отчего на сердце то сожмёт, а то делается так свободно и просторно, что дух захватывает. Она скажет и о своём чувстве к Цыремпилу, сыну здешнего шамана, про которого в прежнее время никогда не думала, как если бы не замечала вовсе. Да и пошто бы тот сделался надобен ей, коль скоро ни чем не отличался от парней в улусе, ну, может, при встрече с нею шибчей других робел и прятал глаза?.. Был худотелый и длинноногий, с большими рыжими, навывкате, глаза-

ми и с тонкими, в редких жёлтых волосёнках, руками, которые, кажется, ни разу в жизни не держали топора. Хотя это, конечно, не так. Цыремпил наверняка умел управляться с топором и мог смастерить чего надобно из тех хлыстов, что, случалось, жители улуса привозили из дальнего, за семь вёрст от дома, глухого прихребтового саянского леса.

Аюна совсем недавно побывала там. В тайге не понравилось: сумасшедше гудели толстыми тёмно-зелёными ветвями матёрые гладкоствольные деревья, и было мало солнца. И почему-то знобяще на сердце... О, она сразу ощутила этот озноб, и уж не хотела оставаться в глухом лесу. Не дождавшись, когда парни загрузят на телеги хлысты, ушла... И чуть не заблудилась. Вот тогда-то испугалась по-настоящему: в какой-то момент даже подумалось, что уж не отыщет дороги к дому. Реветь тянуло от тоски. Может, так и случилось бы, да неожиданно лицом к лицу столкнулась на узкой, утопающей в цепкой лесной траве, желтогрудой тропке с длинноногим Цыремпилом. Чего он тут потерял? Уж не за нею ли увязался?.. И спросила бы, да только не до того тогда было от захлестнувшего сначала беспокойного, а чуть погодя радостного чувства, только и выдохнула, на мгновение-другое прижавшись мокрым от слёз лицом к тощей груди парня:

— Вот славно-то! Вот хорошо-то!..

В те минуты что-то поменялось в её отношении к Цыремпилу. Вдруг подумала, что он не последнего ряда, хотя и робок больно, — и улыбнуться умеет чуть приметно тонкими прямыми губами и глянуть ласково. И она, едва придя в себя, без прежней досады посмотрела на парня и, к удивлению своему, не отыскала ничего, что в прежнее время если и не раздражало, то и не вызывало хотя бы малой симпатии к нему. И даже больше... Он вдруг показался ей вполне приличным молодым человеком. Когда она прижалась к его груди, почувствовала, как у парня сильно забилося сердце. Могла бы и догадаться, отчего бы?.. И — вспомнить, как он и раньше, чаще исподтишка, но её-то не обманешь, смотрел на неё. Понимала, что нравилась ему, а только считала: «Ну и что?.. Много их шляется по степи, что ж, всякому встречному кидаться на шею?..» Дальше — больше. Почему-то стало казаться, что он хуже других, и не только потому, что был худ и вял, и видать, не привыкши уважать себя, чаще держался в стороне даже от приятелей и терпел, если те иной раз насмехались над ним, сама-то Аюна сроду бы не допустила такого к себе отношения, а ещё потому, что ни разу не подошёл к ней и не сказал, что она небезразлична ему. Толку-то, что не сводил с неё глаз! Вот если бы, если бы... Думала ли она так? Может статься, и нет, только теперь мнилось, что думала. Она, надо сказать, мало что понимала даже в собственных чувствах, которые порой невеста о чём нащёптывали, нередко и о чём-то стыдном, отчего у неё вдруг да и загорались жгуче-ярким румянцем круглые щёки, и она, ругая себя почём зря, норвила убежать куда подальше и ни с кем не встречаться: не дай-то бог, если кто-то угадает, что пришло ей на ум, и разнесёт про это по всему улусу. Небось, тогда и вовсе со стыда сгоришь!..

В тот раз Цыремпил проводил Аюну чуть ли не до порога юрты. И она ничему происходящему в ней не воспротивилась. Охотно шла рядом с парнем, искоса поглядывая на него, и на сердце было спокойно и чуть только щемяще. Не понимала, откуда взялась щемота и почему хотелось, чтобы Цыремпил почаще поглядывал на неё?.. Поняла позже, когда пришла домой, и бабушка Дулма встретила её тревожным вопросом:

– Ты где была?..

– Что-то случилось?..

– Да нет... – вздохнула бабушка Дулма. – Просто ты где-то задержалась, и я забеспокоилась. Ить знала же, что нынче ты не собиралась ехать в райцентр. И куда же тогда подевалась?..

– Я ходила в тайгу, – сказала Аюна. – Чтоб набрать синей травы. Про неё ты говорила, что пособляет от разных болезней.

Аюна только теперь вспомнила, почему увязалась за парнями, что были заняты на лесосечной деланке, отведённой для жителей степных улусов здешним лесничеством. И удивилась, что, оказавшись на таёжной поляне, разом запамятовала про это. Чудно, право! Как если бы кто-то начисто выключил сознание и подтолкнул прежде времени встать на ловко вихляющую промеж подгнивших, дурно пахнущих пней-завалей тропу с тем только, чтоб встретиться с Цыремпилом. Она теперь так думала. И было приятно, что так сделалось и сходу подтолкнуло к чему-то и прежде жившему в ней, но во что упорно не желала поверить. Вот дурёха-то!.. А оказалось, так приятно улавливать идущие от сердца токи, лёгкие, сладостно скулящие... Чего же раньше-то упорно прогоняла их, не давая им распусть листочки?..

А синей травы она таки набрала, и лишь потому, что Цыремпил сказал, что негоже уходить из тайги с пустыми руками. Он, когда Аюна уж думать забыла про то, отчего увязалась за парнями, подсевши к одному из них на тряскую телегу, сказал, заметно оживившись в лице, отчего на нём, смуглом и длинном, тенево обозначились живые, перебегающие с места на место розовые пятна:

– А вон и травы синие. Я однажды видел такие же на столе у твоей бабушки. Она мелко нарезала их, а потом, собрав на поднос, поставила на подоконник. Надо быть, на просушку. Давай уважим старушку.

Аюна, как бы очнувшись, охотно согласилась и сошла с тропы.

Бабушка Дулма меж тем сняла с медленно глеющего, легонько попыхивающего дымом, круглого очага желтобокую манерку с густо заваренным зелёным чаем. Разлила по кружкам. Поставила на стол плоскую тарелку с горькой пресных, на козьем молоке, лепёшек. Сыскалась и глубокое цветастое блюдечко с густой жёлтой сметаной. А потом, охая, присела на низенькую косолапую табуретку, маленькая, дивно скуксенная, с тонкими, изъеденными морщью, руками. И всё то время, пока Аюна, зайдя за ситечную занавеску к умывальнику, приводила себя в порядок, думала про разное такое, о чём привыкла думать. Ну, к примеру, про то, что годы бегут, поспешая невесть в

какие пределы. Но, может статься, в те, где её никто не ждёт. Хотя... если разобраться, отчего бы так-то? Надо быть, и про неё кое-кто помнит из тех, кто перешагнул заветный порог и теперь, обретя другую форму, пребывает среди добрых духов и, чем может, подсобляет им. «Боги, поди, скоро пошлют за мною?.. Да и пошто бы стало по-другому?..»

Да уж, годы, годы... Нет удержу их непрестанному продвижению по земному пространству!.. Вот и она изрядно остарела и нынче уж мало на что пригодна, глаза только и углядывают ближние предметы. И руки приметно ослабли и едва удерживают манерку с чаем, а про ноги и говорить не хочется: давненько сделались обузой; уж не ходят, а как бы волочатся следом, когда она норовит по какой-либо надобности пройти в дальний тёмный угол юрты.

А ещё старуха думала о внучке: как-то сложится у неё жизнь, когда она сама-то отойдёт к ближним, но, может статься, и к верхним духам. А почему бы и нет?.. Ведь она никому не делала худа, жила тихо, никого не обижая и ничего для себя не требуя и удовлетворяясь тем, что отпущено богами. Но, может, неправильно поступала, что не беспокоила духов? Может, как раз надо было проявить настойчивость и попросить у них не для себя, конечно, для внучки.

Впрочем, эта мысль, чуть только возжёлвшись, угасла и больше не тревожила. Наверное, была от-вратного её душевному настрою пошиба, потому и оказалась коротка.

А вот и внучка под села к столу и потянулась за чашкой чаю, пыщущего приятным аргальным жаром. Бабушка Дулма не увидела, скорее, почувствовала это, и – потеплело в маленьких тусклых глазах, подёрнутых тонкой слоистой плёнкой. Крякнув, тихонько сказала дрогнувшим голосом, обернувшись лицом к Аюне:

– Много лет назад, когда на небе воссияла полная луна, мы поднялись с тобой на Священную гору и разожгли большой аргальный костёр. Я считала, что мы одни там были, а оказалось, нет... То в одном месте, то в другом полосили низкое небо костры памяти. Ты всё норовила сбечь от меня и узнать, кто возжигает костры. Но я не отпускала, и ты обиженно поджимала губки. Иль запамятовала?..

– Да нет, – неуверенно и почему-то смущаясь, сказала Аюна. – Нет, конечно...

– Правда ли?.. Ить тебе было пять лет. Хотя пошто бы и нет?.. Уже тогда ты была памятлива, страсть как... Соседская собака рыжая, мордастая, однажды облаяла тебя, дак ты с того времени невзлюбила её и всякий раз, когда та пробегала мимо, показывала на неё пальчиком и чего-то бормотала под нос... Однако обидное для собаки.

– Мы тогда ничего не увидели в ближнем небе, – слегка помешкав, обронила старуха слова-камушки. – Небо как-то враз посмурнело, угнало солнечные лучи за горбатый голец. И ветром потянуло снизу, из долины. И костёр погас. И пора было идти домой, но ты ни в какую, упёрлась, и всё тут... Незнамо, что нашло на тебя?.. Спасибо, люди помогли. А не то прихватили бы мы от дождя, который вскорости пролил-ся на сухую землю.

– Помню, ты говорила, что в Белый месяц к нам придёт Белый старец и принесёт подарки от ближних духов и сядет за стол и будет есть с нами белую пищу. И я всё время ждала его, но так и не дождалась.

Бабушка Дулма вяло покачала головой и сказала, понурясь:

– Не часто Белый старец спускается со своей горы. У него дел-то, знаешь, сколько...

– Стало быть, он ещё придёт, и я смогу попросить, чего мне хочется?..

Невесть что стряслось с Аюной, ей вдруг захотелось ощутить себя слабой, обидеть которую ничего не стоит. Только кто ж посмеет-то? Ведь у неё нынче есть защитник. Пущай пока и не Белый старец, всего лишь Цыремпил... «А что? Он только с виду смиренный. Но, если обозлить, таких дров способен наломать!..» Как будто знала, какой он, Цыремпил-то... Нет, конечно. Откуда?..

– Сможешь... – чуть слышно обронила старуха. – Белый старец не откажет.

А и впрямь что-то творилось с Аюной, вдруг захотелось рассказать бабушке Дулме о том, как вышла вместе с Цыремпилом из лесу, и как хорошо ей было. Честное слово, никогда не было так хорошо на сердце, дивно сладко, вроде бы как шоколадную конфетку в рот положила и всё не надкусит её. И Аюна, ничего не ломая в себе, оберегая чувство, нежданно-негаданно посетившее, сказала о нём, а ещё о том, что теперь не представляет себе жизни без Цыремпила.

Бабушка Дулма выслушала, только и спросила:

– Это тот, длинный такой, навроде оглобли, зайдёт в юрту и в потолок упрётся головой?..

– Да, он самый...

– Но ты вроде бы недолюбливала его и, бывало, досадовала, когда норовил приблизиться к тебе?..

Аюна покраснела, хотела что-то сказать, да язык не повернулся.

– Во как?.. – заметно взбодрившись, обронила бабушка Дулма. – И ладно, чего уж тут?.. – И чуть помедлив, добавила: – Взрослеешь ты, девка.

А про себя подумала: коротка верёвка – узла не завяжешь... Это она про то, что не перешибёшь время: уж больно настырно и ничему в человеках не подчиняемо. И хотел бы приостановить его движение, да куда там!.. Всё, хотя бы и непотребное душе, вершит по-своему.

Внучка поела и сказала, что надо разнести газеты да письма, их нынче много, видать, люди-то ещё не разучились писать. Взяла сумку и вышла из юрты.

Аюна и впрямь намеревалась заняться делом, однако ж не только для этого оказалась на узкой, прямой улочке, а ещё и с намереньем повидаться с Цыремпилом. «Небось торчит возле юрты и дожидается меня. Он такой... Сам-то без приглашенья и шагу не сделает. Чудной!..»

Аюна не ошиблась. Не успела закрыть за собой калитку, он тут как тут... Подошёл к ней, улыбнулся виновато. Сказала, чуть только, для порядка, скорее, подсадовав:

– Ну, чего ты!..

А про себя подумала: «Как неродной...» И подумала так ничем со стороны не подталкиваемо, словно бы о чём-то свычном с её душевным настроем.

В тот день они разнесли по подворьям почту, а потом, и сами того не ожидая, оказались в степи. Долго брели чернотропьем, сказывая про разное, мало значащее, но не для них. Для них нынче всё в диковинку. И то, что держались за руки, и то, что небо было ясное, без единого облачка, и то, что солнце пригревало не так обжигающе, как обычно в эту пору. Вроде бы смягчило свой норов небесное светило при виде того, что вершилось у них на душе. А там вершилось что-то дивное и трепетное, и, хотя и не настырно, взбулгачивало на сердце, и всё, что было с ними прежде, казалось на удивление скучным и уж ни к чему не зовущим. И то ещё радовало Аюну, что Цыремпил помнился вовсе не таким, каким привыкла видеть его, точно бы поменял в себе и то, что раньше сдерживало, отодвинул в сторону, а чуть погодя и вовсе запамятовал про это, и легко сказывал про всё, что на сердце. Правда, сказывал путанно, перебегая с одного на другое, и не всегда можно было понять его, но Аюна не сердилась и охотно слушала, а коль скоро он замолкал, сказывала про своё, утайное. И не удивлялась этому, как если бы ничего другого и не ожидала от себя.

Ближе к полудню небо начало хмуриться, а время годя упругий сухой воздух прошили толстые нити неспешного дождя. Было приятно ощущать, как прохладные водяные капли забивались за ворот взмокшей от пота рубахи, и не пытаться ничего поменять тут. Зачем?.. Иль не в радость давно жданный жителями долины июльский дождь?!.. Вон даже травы в степи, стряхнув оцепенение, расправили увядшую было стать, распрямили затверделые стебли и потянулись тонкими волосняными лапками к надёжно прикрытому шальной весёлой смурью неоглядному небу. Когда бы умели сказать про своё, наверняка сказали бы о радости, что нынче вселилась в них, и уж нипочём не избыть её. Всем своим видом показывали, как им хорошо и просторно в степи, почему и шелестели шустро и весело, норовя притянуть к себе как можно больше небесной влаги.

С этого дня Аюна и Цыремпил много времени проводили вместе, и это не осталось незамеченным одноулусниками. Говорили те, кто с бойким необидным удивлением, а кто и с щекочущим нервы раздражением, впрочем, быстро проходящим и не оставляющим на сердце и малого следа:

– И что могло повязать их, не похожих друг на друга ни внешне, ни норовом?..

А и впрямь, что?.. Были они на удивление разные. Он рослый и худой, с рыжими, дурно враскидь зачёсанными волосами, упдающими на узкий, с розовыми крапинками, плоский лоб, с порыжело-чёрными редкими усиками, едва пробившимися над толстой губой. По виду увалень, каких поискать. Впрочем, в последнее время он приобрёл и нечто такое, что ещё никем, кроме Аюны, хотя бы и смутно, не углядывалось. А она была маленькая, светлоликая, вёрткая, и минуты не посидит и не постоит спокойно, всё поспешает куда-то, норовя забежать вперёд, громкоголосая. Впрочем, и тут в последнее время поменялось, и уж не всегда Аюна открывалась первому встречно-

му, а как бы что-то утаивала в душе. Не сразу откликнулась даже на зов тех, кто не вызывал в ней неприязни.

Да, они были разные. К нему, внешне сходному с карымами из соседних деревень, с натяжкой, конечно, подходило присловье, бытующее в Сибири, где народы уже давно перемешались друг с другом: «Нос плюский, глаза узки, а сам чисто русский...» Она же, с крутой, аккуратно прибранной чёлкой ослепительно чёрных волос, со смуглой гладкой кожей на маленьком круглом лице, с тонкой прямой талией и легко, ненадсадно вздёрнутой грудью, являла собой тип степной бурятской девушки, какую можно встретить только в здешних местах и порадоваться, глядя на неё, ещё не утратившую от Божьего благодарения.

Про эту разность молодых людей не однажды говорил и отец Цыремпила, но по первости с лёгким смущением, надеясь, что сын почудит маленько и образумится и отстанет от Аюны, которая не нравилась не только потому, что частенько вела себя не как приличная бурятская девушка, а как ошалевшая от большого солнца чужеродная девица, бог весть каким ветром заброшенная в ближнюю степь, и, по всему чувствовалось, ни к кому не испытывавшая и малого уважения, а ещё и потому, что была дочерью человека, кого он терпеть не мог за нежелание подчиняться Уставу, негласно отпущенному бурятам Верхними духами. Не зря же сей человек покинул отчину и теперь невесть где жил, видать, и вовсе запамятовал о вере предков?.. Но время шло, а ничего не менялось в поведении Цыремпила, и старый шаман забеспокоился и решил серьёзно поговорить с сыном. К его удивлению, тот, хотя и выслушал со вниманием, сказал с неким упрямством, чего никак нельзя было ожидать от него:

– Я женюсь на Аюне. Не могу без неё..

Шаман мог бы накричать на сына, но что-то помешало, в душе ли рождённое, приспевшее ли со стороны. К тому ж насадно заныло на сердце. И он промолчал... И опять стал ждать, когда сын образумится. А потом снова говорил с ним, но теперь уже строго, хлёстко роняя тяжёлые округлые слова. Под конец сказал холодно:

– Есть только один путь, который мог бы соединить вас для жизни.

– Какой?.. – нетерпеливо спросил Цыремпил.

– Ты слыхал про Шаман-камень, брошенный хозяином священного сибирского моря в устье Ангары? Сюда и в прежнее время, и нынче привозят бурятских девушек дурного поведения и оставляют на три дня и три ночи посреди ничем не утеснённого пространства. Ежели те выдерживают испытание, им разрешается поступать по-своему, любить, кого захотят. И уж никто не сможет помешать очищенным от греховных помыслов. А коль скоро кто-то сломается, что ж, значит, так было предначертано судьбой. Но да на всё воля мудрого Белого старца, в чьё распоряжение поступают девушки. И да осияется земной и небесный путь его!..

Цыремпил слыхал про это, а ещё и про то, что многие девушки после такого наказания сходили с ума и уж ни о чём не помнили: ни откуда родом, ни как зо-

вут их?.. До сих пор на окраине улуса живёт маленькая бледнолицая женщина, прошедшая чрез такое испытание и утратившая себя в ближнем мире. Ей, рассказывают, не так уж и много лет, а она сильно горбится и голова у неё белая-белая, и руки в толстых синюшных морщинах. Она ни с кем не общается, а только вяло улыбается каждому, хотя бы и нечаянно встреченному ею, и норовит сказать о чём-то, только сказать не умеет: слова подевались куда-то и уж не вернутся. И мучается от этого, и в пожелтевших, с чёрными свечущимися угольками, тёмно-синих длинных глазах мечется такая тоска, которая бывает разве что у старого гурана при встрече с волчьей стаей, от которой, он чувствует, уже не сбежать. С утра до ночи женщина обычно сидит возле своей юрты на низком вихлястом стульчике и тихонько, как бы про себя, воеет. И жутко делается тем, кто слышит этот горестный скулящий вой.

Нет, Цыремпил ну никак не хотел бы подвергнуть возлюбленную суровому испытанию. Всё ж передал ей слова отца. Аюна долго пребывала в недоумении, не понимая, чем заслужила такое к себе отношение?.. Но, помедлив, сказала сматым от волнения, разом осипшим, словно бы от застуды, так непохожим на её собственный, тихим голосом:

– А может, твой отец прав? И нам надо подчиниться ему?..

– Нет, нет!.. – испуганно вскричал Цыремпил. – Я не хочу! Слышишь!..

Аюна посмотрела на него долгим, с напрягом, взглядом, отчего у неё заслезилась глаза, как бы пытаясь заглянуть ему в душу. И, кажется, что-то увидела в ней, но, может, не увидела, а почувствовала, и смущение пало на девушку, да не то, обычное, от которого при желании можно легко отделаться, другое, тягостное, камнем лёгшее на сердце. И она ничего не могла с ним поделать. И со страхом думала: «А что, если так и пребудет во мне, неизменное в своём упорстве?.. Что тогда?..»

В полдень, когда смурное от зависших над землёй угрюмовато-серых туч низкое небо чуть посветлело, Аюна подошла к высокой, выше других, увешанной синими, белыми, жёлтыми флажками, юрте шамана. Постояла у калитки, точно бы собираясь с силами, хотя это было не так, и она не испытывала и малой робости к служителю ближних и дальних духов, просто у неё в эту минуту шибко забилося сердце, и, чтобы успокоить его биение, она и замешкалась на порожке. Но вот вошла в юрту, откинув дверной полог, и... увидела седоголового старика, шустро и звонко перебирающего тонкими пальцами блестящие кругляши-чётки, нанизанные на толстую нитку. Он сидел возле очага и со вниманием, в котором она краем глаза заметила не то, чтоб волнение, скорее, напряжение, смотрел на неё. Сказала негромко, но с той почти дерзкой решимостью, на какую только была способна:

– Ну, я пришла... Что дальше?..

Шаман неторопко, побряхтывая, поднялся с низенького круглого табурета встретить её, а подойдя, худой и рослый, едва ли не вровень с Цыремпилом,

строго глянул на неё сверху вниз маленькими, зеленовато-взблескивающими глазами, положив на плечо девушке тяжёлую руку:

– Это хорошо, что ты пришла.

А потом... Да, что же было потом?.. Она, кажется, сказала ему о своей любви к Цыремпилу, а ещё о том, что, если по-другому нельзя, согласна провести три дня и три ночи на Шаман-камне.

Служитель ближних и дальних духов вроде бы удивился её словам. Во всяком случае, в его чёрном дряблом лице поменялось: глубокие морщины подле глаз заметно сгустились, оживши, узкий, клиншком книзу, подбородок пуще прежнего вытянулся, а рука, которая держала связку блестящих чёток, дрогнула, и те тоненько зазвенели... И ещё не скоро шаман справился с волнением и сказал заметно подобревшим, утратившим прежнюю натужность, на удивление слабо, почти скуляще прозвучавшим голосом:

– Мне глянется, что ты девушка с пониманием. Я даже предположу, что ты будешь хорошей женой моему сыну.

Через день, уже в сумерках, окутавших степь густо и неукладисто, Аюну посадили в высокую одноосную телегу и повезли к Шаман-камню. Кучерил сам шаман... Всю дорогу молчали, как если бы боясь расплескать в душе то, что ещё сохранялось и позволяло напрямую обращаться к хозяину священного сибирского моря и просить Его о милости.

Ближе к ночи подъехали к тому месту, куда и предполагал попасть служитель ближних и дальних духов. Аюне было всё равно, она как бы отключилась от того, что происходило с нею и почему?.. И уж ни о чём не думала, полностью подчинившись сладостно щемящему чувству, которое, надо сказать, появлялось нечасто и требовало уважительного к себе отношения. Это чувство отодвинуло её от ближнего мира и увело в незнакомые дали, играющие дивным разноцветьем, где уж никто не посмотрит на неё косо и не упрекнёт, даже если она сделает что-то не так... Тут не было людей, зато по всему ближнему пространству носились светлоликие тени. Эти тени всякий раз при встрече с нею как бы приободрились и мирно, ничего в ней нестрагивая, кружили над головой. При их приближении в воздухе отмечалось колебание, похожее на слабый, чуть только взнявшийся ветерок, едва способный поколебать черёмуховые кусты, низко зависшие над среброгрудым ручьём, вода в котором была дивно чиста и прозрачна. В какой-то момент Аюне захотелось если и не испить водицы, то хотя бы помочить в ней пересохшие губы. И, о, чудо, её желание тут же было исполнено. Нет, она не сделала и шага к ручью, а только кто-то невидимый, озабоченный, подал ей в горсти воду. И тут же, чуть только она споровила поблагодарить его, растворился в пространстве.

Аюна едва ли что-то соображала, когда её усаживали в прыгающую на галечной прибрежной волне вертлявую речную посудину к чёрному лодочнику. Бог весть, какие слова говорили при этом, но, надо быть, молитвенные, сходные с бурятскими благопожеланиями – юролами. Пришла в себя, когда до сей минуты не произнёсший ни слова чернобородый ло-

дочник, причалив к Шаман-камню, горделиво взнёсшемуся над тёмно-синим водным пространством, расталкиваемом белоспинными морскими волнами, подал ей узелок, а потом, подтолкнув в спину, сказал:

– Выходь...

Аюна не сразу подчинилась приказанию. Какое-то время медлила, отчего лодочник нетерпеливо обронил худым сиплым голосом, в котором при желании можно было уловить сочувствие к девушке, невесть за какие грехи осуждённой провести три ночи на Шаман-камне:

– Ну, чё ты? Выходь уж...

Но Аюна этого не заметила, почему-то именно теперь, когда, казалось, должна была погрузиться в лютое отчаянье, ощутила на сердце нечто успокаивающее. С тем и сошла на Шаман-камень, со всех сторон омываемый угрюмыми высоченными волнами. А потом, невесть чему подчиняясь в себе, но, может, не чему-то в себе, а тому, что происходило в дальнем, едва угадываемом ею мире, отыскала глубокую трещину в камне, протиснула в неё своё худое тело. Села, обхватив колени руками и пряча голову от шально гудящего сквозного ветра. Но, когда лодочник отплыл, загребая накатывающие волны длинным гибким веселком, беспокойство мало-помалу растолкалось на сердце.

Низко зависшее над Шаман-камнем, утопающее в тускло взблескивающем лунном свете сребротелое небо заметно посмурнело. Откуда-то принесло чёрные лохматые тучи. Они оттеснили рваные серые облака к ближним скалам. Белокрылые гомонливые чайки, что вершили бойкое круженье в изрядно колеблемом, раздёрганном воздушными потоками небесном пространстве, изредка зависая над морем так низко, что, казалось та, надо полагать, седьмая, выше других вздымаемая, волна зашибёт иную из них иль утянет в морские глубины, куда-то подевались, но скорее, утянулись в скалы, где было разбито промеж мшистых камней чаечное гнездовье, и где белокрылых птиц теперь дожидались горластые птенцы. Павшая сверху тьма, по первости рыхлая и вялая, быстро загустевала. И вот уж не стало видно и ближнего берега, теперь его обильно засеял холодный электрический свет, льющийся из узких, глазастых, по сибирской справе, окон с ладно укладенными широкими подоконниками и тяжёлыми ставнями, выкрашенными в синий, но нередко и в тёмно-бурый цвет.

А море всё шумело, шумело, и скоро жёлтая кудрявая пена покрыла многовёрстное устье Ангары. Аюна закуталась в лёгкое байковое одеяло, которое вытаскала из свёртка, закрыла глаза в надежде, что удастся заснуть. И тогда всё страшное отодвинется от неё. Но не тут-то было. Сон так и не отыскал к ней дороги.

Девушка сидела, свернувшись в калачик и, широко распахнув глаза, с нечаянно, но, может, и не так, а вполне предполагаемо, накатившим на неё скользким, скребущим на сердце страхом прислушивалась к сходному с волчьим завыванию привычного для здешних мест Верховика, скатившегося по лесному распадку к священному морю, к буйному, ничему нынче не подчиняемому дерзкому нахлёсту саженых байкальских волн, к булькающему шороху легко

и ненадсадно пролившегося дождя, и – невесть что мерещилось ей. Но чаще что-то отторгаемое ощущениями, что-то гнетущее и вязкое, способное обломать в душе. И надобно было обладать немалым мужеством, чтоб не зареветь в голос. Но то и ладно, что это длилось недолго. Во всяком случае, Аюне так помнилось, хотя на самом-то деле время тут так же было ничему в мире не подчиняемо, в его незримом движении не угадывалось обыкновенно присущих ему признаков, и в какой-то момент можно было решить, что время остановилось.

Аюна по первости не сказала бы, отчего так случилось, отчего отпустил страх, и она спокойно прислушалась к гудящему над головой ветру и уловила в нём нечто грустное и щемящее, а вовсе не стремление к погублению человеческой души?.. Но чуть позже почувствовала, что так сделалось не случайно, а вроде бы даже согласно с волей хозяина священного сибирского моря. О нём часто сказывали жители улуса, когда приходилось туго. Верили, он способен понять каждого и помочь тому, кто нуждается в нём.

– Он только тех не любит, – сказывали, – кто погряз во грехе. Этих и наказать может, и вынуть из них душу. И как тогда жить без души-то?..

Видать, признал Белый старец в ней, степной девушке, человека не пропащего, а чего-то стоящего и надобного не только себе. Аюна подумала так и успокоилась, и чуть позже сказала, едва ли не с вызовом в слабом голосе, норовя отодвинуть от себя смурную глухоту ночи: «А ничего, перетерпим и это...» И только потом вспомнила, что так говорила бабушка Дулма, когда приходилось туго и надобно было приложить немалые усилия, чтоб не пропасть с голоду.

– Ну, ладно, волки порезали овец, – говорила бабушка Дулма. – И корова почти не даёт молока. Но картошка-то в подполе ещё осталась, и коза по двору бегаёт. Ничего, перетерпим и дотянем до тёплых дней. А там, глядишь, и наладится...

В какой-то момент то ли наяву, то ли в дрёме, которая навалилась и была тяжёлая и дряблая, как отсыревшая верёвка, Аюна увидела рядом с собой широкоскулого, с узкой белой бородкой, слегка сутулящегося человека в сером дублёном полушубке и спадающей на глаза глубокой ондатровой шапке. Невесть откуда он появился: то ли вышел из морских глубин, отпущенный Белым старцем по какой-то надобности, то ли, на мгновение обретя крылья, спустился с Высокого неба?.. Хотела бы спросить, да заробела: мало ли что?.. А он меж тем снял шапку и слегка привёл в порядок широкой жёлтой ладонью правой руки слипшиеся седые волосы на голове и с неподдельным интересом в мутно-жёлтых глазах посмотрел на девушку:

– Что, не узнаёшь меня?..

– Н-нет... – прошептала Аюна.

– Ну, да, конечно, – вздохнул. – Откуда ж тебе и знать-то?.. В те поры, когда я жил на земле, тебя ещё не было на свете, и только где-то в неближних летах маячила слабая тень твоя... И она таки дождалась тебя. – Чуть только помешкал. – Я доволен, что боги дозволили мне повидаться с тобой. Но, может, ничего этого не было бы, когда б Белый старец не попросил

богов отпустить меня для встречи с тобой. Надо думать, увидел Всемогуший, как нынче растолкано в твоей душе и смутно, и – пожалел мою правнучку.

«Так ты мой прадед, о ком до сих пор помнят люди?..» – не спросила, скорее, подумала Аюна и тут же почувствовала, как окутавшая её дрёма сделалась мягче и легче, а страх, что коггисто сжимал сердце, мало-помалу отступил. И точно бы осознав, что теперь она не одна, Аюна без прежней опаски окунулась в теперь уже мягкую и зыбистую дрёму, а время годя и в лёгкий, ничего дурного не сулящий, молодой сон.

А потом было утро и – пьяный, смурной от ошалевшего непогодья вечер. И – мгlistая ночь. А потом ещё день и ещё ночь... Аюна вроде бы даже начала свыкаться со своим пребыванием на Шаман-камне, когда в широком устье сибирской реки появилась старая рыбацкая посудина с чёрным лодочником. Девушка встала на ослабевшие после долгого недвижения ноги, слегка покачиваясь под порывами напористого ветра. А когда лодка подплыла, снова ощутила присутствие рядом с собой своего далёкого родича и даже вспомнила его имя и тихонько, как бы про себя, сказала, всхлипнув:

– Спасибо, дедушка Амгалон!..

Аюна встретила возле отчей юрты бабушку Дулму. Та глянула на неё и ахнула: у внучки в чёрных незатейливых кудряшках, прикрывающих виски, появилась пока ещё робкая, как бы привнесённая извне, седина. Но сумела взять себя в руки и промолчала. Почувствовала, как старое сердце сдавила жёсткая, нездешнего пошиба, охолоделость. Поняла, что теперь будет трудно одолеть её. А может, и не надо ничего одолевать: пусть всё идёт так, как идёт, ничьёму желанию от людей не подчиняясь?

Кажется, она сказала про это, как и про то, что, когда увезли внучку, поднялась на Священную гору и трое суток провела у дерева, обвязанного разноцветными лоскутами, в молитвах, обращённых к Белому старцу? А может, и не сказала ничего?.. Поэтому как заметно осунувшееся и словно бы даже слегка зачужевшее внучкино лицо не поменяло прежнего выражения, упрямого и холодного, сосредоточенного на чём-то дальнем, угрюмоватом, исходящим, надо быть, из глухих, до сей поры незнаемых и ею самой тайников души.

В полдень пришёл Цыремпил, сказал, теребя в руках кепку и стараясь не смотреть на Аюну:

– Слава богам, ты выдержала испытание, и нынче ничто не помешает нам быть вместе.

– Испытание?.. Какое?.. Зачем?..

Он хотел говорить с нею, звал на улицу. Но Аюна не вышла из юрты. Для чего? Что он мог бы сказать ей?.. Вдруг с упругим, как бы даже затверделым удивлением подумала, что не знает его вовсе, однако и теперь, когда он, пуще прежнего сутулясь, прикрыл за собой тяжёлый дверной полог, хотела бы думать, что он близок ей по духу. Но ведь это не так. Теперь-то поняла, что не так. О, боги, почему же не могла понять этого раньше?.. Может, тогда меньше угнетала бы горестная досада при нынешней встрече с ним, растерянным и жалким, не понимающим, как вести себя с нею, познавшей такое, о чём он и не догадывался?..





Борис МАКАРОВ,

член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры России, награждён медалью «За заслуги перед Читинской областью», Почётный гражданин Читинской области.

Родился в 1939 г. в семье сельских учителей в Чувашии. Вскоре Макаровы переехали в Забайкалье. После окончания средней школы в селе Мангут поступил в Читинский государственный педагогический институт. Служил на флоте (Северный Ледовитый океан, Охотское и Японское моря).

Работал учителем средней школы в забайкальском посёлке Холбон. В 1967 переехал в старинное село Акша на юге Забайкалья, где живёт и сегодня. До 1999 года – сотрудник редакции районной газеты «Сельская новь». Первые произведения появились в областной печати в конце 1950-х. Работы писателя полюбили читатели Восточной Сибири и особенно Забайкалья:

«Начало начал» (Иркутск, 1975), «Возвращаются птицы» (Иркутск, 1978), «Цветные коромысла» (Иркутск, 1983), «Узы» (Иркутск, 1987), «Далеко до вечера» (Чита, 1999), «На изломах времён» (Чита, 2001).

В 1980-е творчество Бориса Константиновича наполнилось переосмыслением бытия, выходом на широкое психологическое и философское обобщение. Огромен вклад Макарова в перевод на русский язык тысяч произведений бурятских авторов. Зрелым мастерством отмечены его литературоведческие статьи и публицистика, широкое признание в народе получили песни на его стихи.

ЗА СТЕНОЙ СТУЧАЛ САПОЖНИК

Вначале стукача мы называли Стукачом не за то, что он на кого-то кому-то стучал – доносил о его или их благонадёжности или неблагонадёжности, как это делали стукачи пятидесятих годов, теперь уже, будем думать и надеяться, действительно прошлого века. Молодой читатель может не понять, о каких стукачах идёт речь, потому автор сразу же считает нужным сделать отступление, не очень приветствуемое в жанре рассказа.

В пятидесятих годах прошлого века, да и ранее, в нашей огромной стране было огромное количество стукачей. Стучали – следили друг за другом и доносили друг на друга – почти все. Руководители и работники отделов кадров самых больших и самых маленьких предприятий, учреждений, организаций были обязаны пунктуально заполнять разные листки кадров, вести картотеки, личные дела на каждого из своих подчинённых. Эти бумаги периодически проверялись представителями соответствующих органов и, не дай бог, если в них при этом встречался хотя бы один незаполненный пункт. А пунктов, удостоверяющих и одновременно характеризующих благонадёжность той или иной личности, было великое множество. И образ человека, вырастающий из разных анкет, производственных, комсомольских, партийных, профсоюзных характеристик вырисовывался так чётко, как будто человек только что вышел из бани в предбанник и не успел даже прикоснуться к своему белью и одежде.

Так что фактически каждый начальник, по долгу службы обязанный вести данную документа-

цию, даже не желая, а может быть, и не осознавая того, был стукачом – стучал – доносил на своих подчинённых.

Вряд ли задумывались начальники гражданских предприятий, учреждений и организаций и о том, почему им, вернувшимся со срочной службы в армии в звании ефрейтора или старшего матроса, через несколько лет пребывания на руководящем посту присваивались воинские звания капитанов, майоров, подполковников, а то и полковников, правда, с припиской «запаса». Ну, конечно же, именно за то и присваивались, что стояли они на боевом посту, контролируя каждый шаг своих подчинённых, по первому требованию выдавая их личные «дела» на просмотр людям, как правило, одетым в гражданские пиджаки, но имеющим при этом грудоплечую офицерскую выправку.

Стучали-доносили друг на друга и на своих начальников и рядовые, самые рядовые члены трудовых коллективов. Стучали на открытых производственных и закрытых партийных собраниях, стучали в статьях и заметках в газеты и на радио, в устных и письменных жалобах в вышестоящие инстанции. Стоило кому-нибудь «проколоться» – оступиться, совершить самый маленький проступок: прийти на работу с раскосыми с похмелья глазами, оставить след своего ботинка на подоконнике чужой жены или незамужней, но не состоящей с ним в законном браке женщины, – и заработала машина общественного порицания и наказания! Срочно собиралось собрание, на которое охотно шли все – и бухгалтер, и шофёры, и курьеры, и секретарши – ведь со-

брания проводились обычно в рабочее время и скрашивали, скрадывали его.

О, с каким удовольствием, с каким наслаждением разоболокали*, распинали оступившегося, попавшего на критическое острие собрания человека, которого ещё вчера называли другом, товарищем, коллегой, а то и братом («дай, брат, закурить»), заставляли его в самых мельчайших подробностях рассказывать о грехопадении, особенно если это касалось того самого грехопадения, из-за которого были изгнаны из рая наши общие предки Адам и Ева.

Эти подробности особенно интересовали старых дев и дев, не пользующихся вниманием мужской половины трудового коллектива. Покрякивая от удовольствия, прислушивались к сбивчивому, смущённому, но не теряющему от этого вкусной сдобной начинки рассказу, как правило, кающегося грешника и мужчины.

Обычно такие собрания проходили мирно и заканчивались решением «поставить на вид», «предупредить» и т.п. Но иногда распалённые участники таких собраний начинали наливать кровью, огрызаться друг на друга, и тогда обоюдная критика перерастала в настоящее побоище с угрожающими разоблачениями-доносами: «А помнишь, что ты тогда-то и там-то про Иван Ивановича (начальника) сказал, кем его назвал?..» А Иван Иванович почти всегда присутствует на собрании, ведёт его, хотя для проформы избирается председателем собрания, что-то постоянно записывает в аккуратную, как правило, почему-то чёрную записную книжку. «А помнишь, что ты про портрет Иосифа Виссарионовича (или Никиты Сергеевича) сказал?..» Это уже страшнее. Это может обойтись подороже подленькой мести Ивана Ивановича – не отпустившего тебя в заслуженный отпуск в летнее время из-за «невозможности обойтись» без тебя именно в этот период.

И что ещё страшнее – были среди общей массы глупых и наивных стукачей стукачи по убеждению, стукачи, стучавшие с верой в незыблемую справедливость и нужность своего стука для всеобщего блага, для народа, для Родины. Только один пример.

Жил да был в те годы в одном из забайкальских сёл один трудолюбивый, немногословный мужик. Работал в колхозе. За трудолюбие, за нелюбовь к пустым словам, за порядочность и скромность назначили мужика бригадиром сенокосной бригады. Дали бригаде план заготовки кормов и направили в одну из падей километров за двадцать от села, центральной усадьбы колхоза. А год тот выдался засушливым, слабоботравным. Покосили мужики, а было их в бригаде человек семь-восемь, день-другой, и стало им понятно, что план не вытянуть. Поняли – но молчали. В то время даже самые рядовые труженики нашей страны (а может быть, в первую очередь, именно они) поняли-осознали: молчание – золото, «вяк – и будешь враг». А с врагами у нас разговор короткий.

И только вечером, у костра, за чаепитием сам бригадир немногословный вздохнул: «Не вытянуть нам

план, мужики, не вытянуть. Оторвут мне голову. Пить-дать – оторвут. Хоть в Америку беги...»

Через пару недель бригада выехала в село помыться в бане. Помылись и снова – на работу. А вот бригадира вежливо попросили задержаться, так как, де, на другой день в правлении колхоза должно состояться важное совещание, на которое приедут представители из района.

В назначенное время бригадир пришёл в правление. Там его ждали трое «представителей из района» в милицейской форме. И уехал он из села, даже не попрощавшись с женой и детьми, на... десять лет в края «не столь отдалённые», находящиеся где-то в районе побережья Охотского моря. На дорожку в нужном месте мужику разъяснили, что десять лет лагерей получил он «за призыв колхозников не выполнять план по сенозаготовкам и бежать в Америку».

С этим человеком я встретился уже в перестроечные годы. Он был реабилитирован и, странно, при этом не был обозлён на Советскую власть.

– Время было такое. Многие сидели. И я сидел... Чего же обижаться. Каждая власть себя, как может, бережёт, защищает. На то она и власть...

Он много пережил, много перенёс и ничему не удивлялся. Хотя, нет – удивлялся: кто из начальников, из милиционеров мог услышать его слова, сказанные у костра в тот роковой вечер? Поверить в то, что на него мог стукнуть кто-то из семи-восьми сидящих вокруг костра мужиков, с которыми он дружил с детства, которых знал, как самого себя, он не мог до конца жизни...

Но вернёмся к началу.

Стукача мы называли Стукачом не за то, что он на кого-то кому-то стучал. Стукача мы называли Стукачом потому, что он действительно стучал. Стучал рано утром. Стучал днём. Стучал вечером. А иногда и ночью. Стукач был сапожником.

Он жил в самой дальней от главного входа крошечной комнатке нашего студенческого общежития – с выходом на задний двор, где большинство из нас, обитателей «общаги», никогда не бывали.

Институтское общежитие стояло на окраине города. Это было узкое длинное, кривококое двухэтажное здание. Построили его наверняка лет сто назад без участия какого-либо архитектора. Оба этажа разделялись на две половины полутёмными коридорами, по бокам которых размещались похожие на пеналы комнатёнки, каждая из которых имела по окну. Ни одно из окон не выходило на солнечную сторону, а потому во всех комнатах царил постоянный полумрак. Коридоры и вовсе походили на тоннели, с той лишь разницей, что тоннели освещаются специальными лампами, а в коридорах общежития лампочки были всегда разбиты или украдены жильцами комнат. Лампочки в комнатах перегорали очень быстро. Оно и понятно – студенты не делятся на «сов» и «жаворонков». В период сдачи зачётов и экзаменов все превращаются в нечто среднее между этими видами пернатых

* Раздевали – забайкальский говор.

– урывками спят днём, обливают головы ледяной водой ночью. Свет в комнатах горит круглосуточно. А если учесть то, что в нашем общежитии проживали студенты разных курсов и факультетов – зачёты и экзамены обитатели общежития сдавали постоянно. Сдадут «географы»-геофаковцы, начинают сдавать «литераторы» с филфака. Студенты выдерживали такое напряжение. Лампочки – нет.

В коридорах и комнатах летом и зимой пахло плесенью, древесной прелью, гниющей картошкой. Картошка и макароны с редкими, праздничными добавками ливерной колбасы, были основными продуктами питания общаговцев. Пищу студенты готовили в комнатах на электроплитках, в больших алюминиевых кастрюлях. Кастрюля каждой комнаты-коммуны носила своё название, обычно выцарапанное ножом или гвоздём на её заляпанном боку: «Кормилица», «Давильница», «Жадина» и т.п.

Прожив в общежитии два года, я никогда не видел Стукача, хотя его комната была отделена от нашей лишь тонкой дощатой, забелённой, но неоштукатуренной стенкой. Стенка пропускала самые тихие звуки. Звук молотка Стукача был настолько чётко, что нам казалось – он стучит в нашей комнате. Мы хорошо слышали глухое покашливание, тяжёлое шарканье ног, выдававшее его немолодой возраст, нечастные и недолгие разговоры с клиентами. Почему именно с клиентами? Да потому, что эти разговоры велись в основном о задниках, голенищах, подошвах, стельках, сапожных гвоздях и ценах за ремонт обуви. Иногда, как правило, по выходным и праздничным дням, к Стукачу навещались его приятели, тоже сапожники. И опять велись разговоры о тех же задниках, голенищах, подошвах, стельках, сапожных гвоздях и ценах за ремонт обуви. Только теперь эти разговоры перемежались звоном стаканов и становились всё живее и громче.

Шум за стенкой нас не раздражал. Мы привыкли к постоянному гулу, к голосам, взрывам смеха, шорохам, стукам, звукам шагов, скрипу и хлопанию дверью, пискам и визгам, заполняющим общежитие и не затихающим до глубокой ночи. И всё же незримое присутствие Стукача мы ощущали постоянно, а иногда и очень остро.

...Вторая половина пятидесятых принесла нам, как и всему народу СССР (для неосведомлённых нынешних, особенно молодых читателей – Союза Советских Социалистических Республик), второе глубинное потрясение, вторую смерть Великого Вождя, Отца народов (страны, можно – мира), Учителя и друга всех детей (опять же, страны, можно – мира) Иосифа Виссарионовича Сталина. Первая – физическая смерть Его – потрясла души и сердца миллионов людей. Вторая – разоблачение, развенчание его поддельной святости и непогрешимости на XX съезде партии в 1956 году вчерашними его учениками, сторонниками, единомышленниками – потрясла умы.

Любое потрясение – мощное встряхивание – порождает брожение. Брожение в сосуде любой прочности – в стальной капсуле или человеческом черепе

– чем-то родственных ёмкостях (недаром наши не такие уж далёкие предки пили перебродивший мёд из железных шеломов и черепов врагов), требует выхода, иначе оно разорвёт и стальную капсулу, и человеческий череп.

О, какие жаркие, яростные споры вспыхивали, клекотали в нашем общежитии днём и ночью! Не проходило и десяти минут, чтобы в какой-нибудь из комнат (за исключением женских – там всегда было поспокойнее и потише, что говорит о глубине, широте и силе женского ума) не вскакивал на своей расшатанной койке, застеленной тощим матрасом и жёлтой от старости и въевшейся в неё грязцы простыней, очередной подёрнутый молодой шерстью оратор. Потрясая, как правило, безмускульными руками и страшно закатывая глаза, он раздражался путанным, не до конца продуманным монологом. Тема монолога могла быть самой разной: «Новое стихотворение Евтушенко», «Роль вождя в истории римского (а значит, любого другого) государства», «Сталин – нашей юности полёт», «Сижу за решёткой в темнице сырой...», «Куда партия смотрела?..», «Доколь мы будем голодать!..» и т.д. и т.п.

Вольно или невольно подчиняясь ритму пульса времени и втайне завидуя невероятной популярности Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского и других взошедших над посветлевшим горизонтом поэтов, почти каждый второй из нас писал стихи. И они были почти по-евтушенковски смелы, но только почти. Однако это «почти» не мешало общаговскому самородку декламировать их с горловым орлиным клёкотом, заставляющим трепетать обитательниц женских (вернее, девичьих) комнат. Там тоже сочиняли стихи. Но, как правило, на одну и ту же тему: «Зачем тебя я, милый мой, узнала...»

Из комнаты в комнату перепархивали анекдоты, очень смелые по тому времени, зачастую не очень остроумные, но с серьёзным подтекстом байки о руководителях государства, партии, комсомола, о невесёлом положении дел в стране.

Отчаянная смелость, решительность Никиты Сергеевича Хрущёва, порождённые его мстительностью, – при Сталине ему приходилось играть на гармошке и плясать, чтобы повеселить Хозяина, – и любовью покрасоваться на публике, тем более, что публикой для него был многомиллионный, привыкший безропотно встречать выкрутасы своих вождей и аплодировать им, народ, – роль борца за правду и справедливость толкнули его на развенчание культа личности Сталина. И тут же эти смелость и решительность, пусть в малых, рассеянных дозах, выплеснулись в народ и растеклись по стране низовым таёжным пожаром.

Стоявшие рядом с Хрущёвым его помощники и соратники – руководители партии и правительства, будучи поумнее своего нового вождя, как это часто бывало на Руси, поняли губительность этого пожара и постарались потушить его. Без лишнего шума, мощно, неостановимо вращались маховики репрессивной машины, запущенной при Сталине: «Кто не с нами,

тот против нас», «Если враг не сдаётся, его уничтожают». Так же, как и прежде, а может, с лёгкого испуга, даже сильнее – чаще, дотошнее стучали в надлежащие органы стукачи. И шли в места отдалённые, обделённые солнцем и витаминами по второй, третьей «ходке» шаламовы, жжёновы, гинсбурги... Или в другие места, с другими разновидностями «волчьего билета».

С третьего курса был исключён «за неуспеваемость» и призван в армию наш комнатный анекдотчик-острослов Вася Коробов. Много позже узнали мы о том, что служить его направили на один из секретных таёжных разъездов Восточно-Сибирской железной дороги, где служили такие же, как он, провинившиеся перед властью солдатики... Под благовидным предлогом «пропуск занятий без уважительной причины» был исключён из института один из восьмерых парней, живших в комнате напротив нашей, – четверокурсник-географ Коля Сараев. Он жил в сорока километрах от областного центра и на выходные часто ездил домой – подпитаться, запастись домашними харчами для заправки «Кормилицы». Однажды задержался дома из-за болезни матери. Привёз соответствующую справку. Её подшили в личное дело. Казалось бы, этим ситуация и исчерпана. Но стоило Николаю рассказать нам, общаговцам, об одной из передач Би-Би-Си, которую он услышал у приятеля-сокурсника, горожанина, имевшего хороший радиоприёмник, – Сараеву припомнили давний пропуск занятий, а справку о болезни матери, подшитую в «Дело» несколько месяцев назад, не нашли... На прощание один из преподавателей, член парткома института, то ли с сочувствием, то ли с осуждением, сказал Николаю:

– Надо было поменьше болтать...

Исключение из института и призыв в армию Васи Коробова, исключение Коли Сараева, почти совпавшие по времени, нас насторожили. К тому же, в письме своей однокурснице Люсе Кулыгиной Вася приписал довольно-таки прозрачную фразу: «Люся, передай привет ребятам и скажи, что язык может довести не только до Киева...» А Коля, повторив нам слова члена институтского парткома, уходя из комнаты, указал пальцем на стену, за которой жил сапожник:

– И у стен есть уши...

В один из ближайших, после ухода Васи и Коли, вечеров, когда мы, собравшись в тесный кружок вокруг стола, выковыривали слипшиеся макароны из «Кормилицы» и вновь обсуждали слова Васи и Коли, нас вдруг удивила мёртвая тишина, установившаяся за стеной.

– Ты-с-с-с! – прошипел «литератор»-четверокурсник Олег Новгородов. – Подслушивает... – И заперхал, подавившись скользкими макаронами, заправленными растительным маслом.

А через неделю, тоже вечером, при нашем коллективном обсуждении роли личности в истории и осуждении низвергнутого с пьедестала Вождя всех времён и народов, раздался стук-грохот в тонкую дощатую стенку со стороны сапожника и его сиплый от выпитой водки или возмущения голос:

– Не троньте Сталина! Я за него кровь проливал! Заткните глотки, сопляки!

Мы действительно мгновенно заткнулись (генетический страх перед любым вождём многие годы будет преследовать наше поколение). И шёпотом, косясь на стенку, сделали вывод: «Точно он! Он – Стукач!»

Мы стали ещё сильнее остерегаться его. Наши жаркие споры на разные, как правило, «политические» темы при малейшем накале стали прерываться полусвистом самого хладнокровного и осторожного из нас, умеющего контролировать ситуацию: «Ты-с-с-с!», кивком в сторону затаившегося в своей комнатухе Стукача, и мы умолкали. Теперь уже только со Стукачом мы связывали все неприятные случаи в нашей студенческой жизни.

Исключили из института за хроническую неуспеваемость второкурсника геофака Бутакова, проживавшего за десять тесно заселённых комнат от комнаты Стукача, – стукнул Стукач...

Вызвали в управление КГБ известного институтского поэта – четверокурсника филфака Юрия Богодаева, провели с ним беседу по поводу несоветской пессимистичности его стихов с рекомендацией внести в них побольше оптимизма, после чего Богодаев вообще перестал писать стихи, – стукнул Стукач...

На полгода лишили стипендии поэтессе-второкурснице «литераторшу» Нинель, как она себя называла, будучи Ниной Белобоковой, – за несдачу двух зачётов и двух экзаменов. Нинель, как это присуще большинству поэтических натур, была чрезвычайно влюбчивой. Особенно в весеннее время, роковым образом совпадающее с периодом весенней сессии. Понятно, что нашей поэтессе было не до зачётов и экзаменов. Но... – стукнул Стукач.

...Наше старое, обшарпанное, скособочившееся от времени общежитие, конечно же, было молодёжным. А потому никто из его обитателей никогда не думал, не говорил о смерти. И мы в то время были молоды, и наши родители. Мы писали стихи, мечтали о спортивных рекордах, верили в своё светлое будущее и в светлое будущее своей страны, до хрипоты споря о путях, которыми должны идти к вершинам коммунизма, критиковали тех – иногда высокостоящих руководителей, в том числе даже членов правительства, которые, как нам казалось, недостаточно быстро ведут наш народ к тем самым сияющим вершинам.

Мы были устремлены в будущее. И смерть боялась нас.

...Весть о смерти сапожника мгновенно облетела общежитие. Впервые в нашей развалюхе, по крайней мере, за два года моего проживания там, умер человек.

Общежитие затихло, посерьёзнело, помрачнело. Откуда-то все и враз узнали имя, отчество, фамилию сапожника. Его звали Владимир Петрович Ольховский. Узнали и то, что он был фронтовиком. А узнав, тут же решили: надо пройти на задний двор и проводить нашего соседа в последний путь.

На заднем дворе мы увидели довольно много незнакомых нам людей. В основном это были мужчины. Больше половины из них – в выцветших, застиранных солдатских гимнастёрках, на которых посверкивали ещё не успевшие потускнеть от времени ордена и медали.

Один из мужчин, стоя у дверей, ведущих в комнату Ольховского, держал в руках Красное знамя. В те годы фронтовиков хоронили с выносом знамён.

Мертвого Ольховского я увидел мельком. Худое. Жёлтое лицо. Гладко причёсанные, слегка тронутые сединой волосы...

Рядом с гробом встали несколько фронтовиков – друзей покойного. На красных подушечках, которые они держали в руках, золотились ордена и медали фронтовика-инвалида (о чём мы только теперь узнали).

Кто-то из стоящих возле меня мужчин сказал:

– Без ног с войны вернулся, а не побирался. Трудом кормился...

Шустрый, явно поднаторевший в работе на подобных церемониях фотограф подравнял фронтовиков с подушечками и несколько раз щёлкнул фотоаппаратом.

Городское кладбище находилось в полукилометре от общежития. Гроб понесли на руках.

Я и несколько моих товарищей на кладбище не пошли.

...С Виктором Андреевичем Куренковым, однокурсником и членом нашей общежитской комнатной коммуны, объединённой вокруг «Кормилицы», мы встретились ровно через тридцать пять лет после окончания института. Встретились, как это зачастую бывает, случайно. В институт, где я работал в последние годы, был приглашён на встречу с преподавателями и студентами авторитетный, многоопытный юрист В.А.Куренков, преподающий на юрфаке университета одного из больших сибирских городов. И хотя, честно признаюсь, я не очень интересовался и интересуюсь вопросами юриспруденции, услышав имя лектора-юриста, поспешил на встречу.

Ночевал Виктор у меня. Посидели... И посидели хорошо. Оказалось, судьба Куренкова чем-то схожа с моей. Работал, как и я, учителем в обычной средней школе. Последние годы работает в университете. В отличие от меня получил второе высшее образование – диплом юриста. Был адвокатом. Несколько лет являлся членом комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

– Начитался, наслушался, посмотрелся такого – и сегодня не пойму, как мы, я имею в виду наш народ, выдержали, выстояли, не превратились целиком и полностью в рабов и идиотов, – сказал Виктор.

Несмотря на неоднократные намёки моей жены на мою гипертонию и необходимость соблюдать режим, мы засиделись далеко за полночь. Вспомнили друзей-товарищей, преподавателей, нашу жизнь в общаге. Вспомнили мы и нашего сапожника-стукача.

– Как ты думаешь, действительно?.. – начал я.

– Нет! Нет! И – нет! – тут же прервал мой вопрос Виктор. – Не был наш Стукач настоящим стукачом. Это мы, дураки, сами себе придумали пугало и виновника за всё, вплоть до наших сверхзаслуженных двоек. Горько и обидно... Ведь никому и в голову не пришло, прежде чем чернить, ненавидеть, проклинать человека – хотя бы увидеть, узнать его. Сапожник фронтовиком был, инвалидом, ордена и медали имел – значит, за спины товарищей не прятался... И поверь мне на слово – среди стукачей, настоящих стукачей, фронтовиков не было, точнее, почти не было...

Виктор помолчал и, усмехнувшись, добавил:

– А я, между прочим, ещё давным-давно узнал имя настоящего стукача, державшего под контролем нашу комнату. Угадай, кто это был? Да нет, не пытайся даже – ни за что не догадаешься... Помнишь, в комнате напротив Ася М-а жила? Тихая такая, скромная, застенчивая девочка, без особых примет, серенькая, как воробышек, вернее, как воробьяха. У воробья-то хотя бы коричневые и белые пятнышки есть. Помнишь её? Не помнишь? Вот-вот, и не должен помнить. Настоящие, добротные стукачи не должны запоминаться. Да и не стоит их запоминать, помнить... Асенька и состояла на спецучёте в КГБ, получала плату за свою службу. Каждому – по заслугам... Каждому по делам его...

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВЕ КАЛУГИ

Калуга, рыба семейства белуг... Длина до 5–6 м, обычно 1,5–2,5 м, масса до 800–1000 кг, обычно 150–400 кг. Две формы: полупроходная (на нерест заходит из лимана в Амур) и речная (постоянно живёт в Амуре). Встречается также в некоторых озёрах Дальнего Востока. Молодь питается бентосом, взрослые – рыбой. Нерест в мае-июне. Плодовитость от 600 тыс. до 4 млн икринок. Живёт до 50 лет. Ценная рыба. Численность сократилась, поддерживается разведением. Занесена в Красную книгу. (Из Биологического энциклопедического словаря 1986 г.)

«Осетровый Плёс находится немного выше с. Акши (Забайкальский край). До 50-х годов прошлого века на этом плёсе обычно ловили амурских осетров. В настоящее время обитают осётры только в низовьях Онона. Изредка ловятся в среднем течении». (М.И.Кулыгин. Загадки топонимики Прионья. Чита, «Поиск», 2006)

ЖИЛА-БЫЛА в реке калуга. В Большой реке большая калуга. Но большая калуга была дочерью Большой реки и казалась Большой реке совсем маленькой.

Пятилетняя засуха сделала своё чёрное дело – Большая река обмелела и Чёрный плёс, в котором с малькового возраста обитала калуга, сузился и просветлел.

Калуга забеспокоилась. Её пугали и излишне яркий солнечный свет, и изменившийся, как бы опавший, притихший голос реки. Инстинкт подсказывал-предостерегал: солнечный свет опасен. Он может высушить рыбу и выдать её врагам – птице, зверю, человеку. Изменившийся голос реки тоже настораживал-предостерегал: перекаты выше и ниже Чёрного плёса обмелели и с приходом зимы, перехваченные льдом, могли превратить его в смертельно опасную западню.

Калуга пережила уже много зим и помнила, как однажды, в пору самой холодной воды, лёд над плёсом осел, совсем перестал пропускать свет, голос реки почти затих, и ей, калуге, вдруг стало душно и страшно.

Заметались, затрепыхались, заблестали в темноте серебристыми боками красноперы, чебаки, караси. Поднялись со дна и вмёрзли в лёд нежные увальни кони-губари. Перестали остерегаться её, калугу, одуревшие от удущья, всегда осторожные, прячущиеся в донных расселинах и корягах налимы.

Калуга выжила. Она спаслась благодаря своей силе и смётке. Чуть пониже верхнего переката она нашла крошечную полынью, пробитую тёплой водой родника, разогнала собравшиеся возле неё стаи рыб и там, на опасном мелководье, дождалась весны.

Тогда мелководье спасло. Но страх перед ним и недоверие к нему остались.

...Вот почему калуга, несколько раз обойдя плёс и окончательно убедившись, что он уменьшается и мелеет, однажды утром спустилась к нижнему перекаату и попыталась преодолеть его. Она вышла на стрежень реки и стала медленно, осторожно, отдаваясь воле течения, скользить вниз. Что там, впереди, ожидало её, она не знала и поэтому не спешила.

И опять сила и осторожность помогли ей избежать беды. Первое прикосновение брюхом к острым камням переката показалось даже приятным. Уже давно могучая рыбина стала ощущать растущую тяжесть и лёгкий зуд в нижней части стремительного, ловкого, сильного тела. Тяжесть и зуд не беспокоили её. Она привыкала к ним постепенно, как привыкают к росту ребёнка в чреве своём человеческие матери. Но она, как и все будущие матери, пусть, может быть, неосознанно, берегла чрево своё. Вот почему, как только прикосновение камней стало ощутимее, она резко вильнула хвостом и поплыла поперёк течения.

Странно, но с приближением к берегу вода не мелела, а наоборот становилась всё глубже и глубже, а течение не слабело, становясь напористее, упруже. Подчиняясь зову глубины и течения, калуга вошла в один из притоков Большой реки.

Устье притока оказалось глубоким, просторным и богатым пищей. Вода притока – чище, чем вода Большой реки, протекающей мимо многих городов и сёл, сбрасывающих в неё свои нечистоты.

Калуга могла бы безбедно и бестревожно жить здесь и год, и два, и три...

Но однажды, ранним, обыкновенным парным над-речным утром, она вдруг поднялась из уютной, защи-

щающей её глубины и, презирая опасности – мели и перекаты, многоголосые людские становища и цепкие щупальца корней топляков, – пошла к неведомым ей истокам неведомой ей реки.

Почему? Зачем?

А кто из нас, из людей, может ответить на эти вопросы, срываясь однажды с обжитого, насиженного, тёплого, кормного места и бросаясь на острые шипы тревог и опасностей неведомых мест и дорог?..

Не в этом ли безрассудная сила жизни...

Не в этой ли дерзости – жизнь...

Приток Большой реки – Степная река – берёт своё начало в таёжных отрогах одного из горных хребтов, окаймляющих огромную степную страну.

...Уже на второй день своего плавания к верховьям Степной реки калуга, поднявшись к поверхности, услышала голоса людей, лай собак, ржанье лошадей, блянье овец. По берегам и по воде заметались тени.

– Смотрите! Смотрите! – кричали люди. – Что это? Таймень? Акула? Крокодил?

– А-а-а!

– О-о-о!

– У-у-у!

Калуга поняла, что крики адресованы ей и ушла в глубину.

Можно и надо было возвращаться. Но что-то толкало и толкало её навстречу течению. Что? И только на шестой день она поняла: вперёд её зовёт, манит, властно влечёт запах другой такой же рыбы, как она, но запах более сильный, острый, чем её собственный – запах самца.

Как и когда оказался он здесь, в глубоком, обрамлённом густыми зарослями тальника, омуте?

Скорее всего, зашёл весной с поднимающимися в верховья притока Большой реки стаями радужнобоких ленков и хариусов. Зашёл и остался. Самцы калуг не создают семей. Они живут беспечно и спокойно, пока не почувствуют присутствие, не увидят несущих икру, готовых к любви и любовным играм самок.

Самца никто не тревожил. Степняки редко занимались рыбалкой. У них хватало других забот. За табунами и отарами, по-рыбы бесшумно скользя в волнах травы, почти постоянно шли волки. И стоило табунщикам или чабанам отвлечься – в табунах пропадали жеребята, в отарах – самые жирные овцы и ягнята.

Иногда к Степной реке по неторным степным до-рогам на выносливых, хорошо отлаженных машинах приезжали рыбаки из далёкого города. Но они, как правило, тоже были безопасны. Помахав часок-два красивыми лёгкими удилищами с золотистыми, сверкающими на солнце надписями – названиями фирм, рыбаки разжигали костры, расстилали на траве клеёнки и брезенты, вынимали из багажников нежно позвякивающие стеклом ящики, раскрывали специальными ножичками банки с рыбными консервами и подолгу, многословно рассказывали друг другу о своих успехах на предыдущих рыбалках.

Самца калуги никто из местных жителей и заезжих рыбаков никогда не видел. Да и кому захотелось бы, пришло в голову лезть к омуту сквозь густые заросли тальника, когда вокруг столько удобных, открытых для рыбалки и ветерка, прогоняющего комаров и паутов, мест.

...На вечерней заре калуга вошла в расцветенный алыми бликами омут.

И была встреча...

...И была встреча в городе.

В тот же заревой час в уютной комнате, за заставленным «закусью» и бутылками столом, поглядывая с третьего этажа на сверкающий ранними, всё более густеющим огнями город, отмечали очередную встречу закадычные друзья, бывшие однокурсники – сельский ветврач Андрей Андреевич Суханов и главный врач городской ветлечебницы Сергей Ильич Долгополов. Жена Сергея Ильича уехала в соседний город в гости к матери, и друзья чувствовали себя вольготно и молодо. Андрей Андреевич и Сергей Ильич встречались довольно часто и всегда были искренне рады встречам. Их объединяли не только воспоминания о студенческой жизни, но и общие увлечения. Оба, как они говорили сами, очень любили природу, любили побаловать себя ружьишкой, посидеть у рыбацкого костра.

Баловство ружьишкой и сетушками приносило солидный приварок. В окрестностях села, где жил Андрей Андреевич, ещё водились дикие козы, лисы, рябчики. На Степной реке – на её островах и заросших камышом берегах гнездились утки. Стабильно приносили удачу и сетушки – стометровые китайские сети-липучки, обходить которые не умели даже многоумные сазаны и предельно осторожные сиги.

Андрей Андреевич хорошо знал родные места – дороги, тропы, рыбные плёсы и омуты, таёжные распадки в верховьях реки, богатые зверем, птицей и рыбой, ягодами и грибами. Сергей Ильич имел новенький быстроходный «УАЗ». Так что содружество их было не только приятным, но и взаимовыгодным.

Вот и в этот раз, «дёрнув по первой» и чуточку разомлев, друзья сразу повели разговор о рыбалке.

– Ты что думаешь, Сергей, я к тебе просто так, случайно заехал? – хитро, многообещающе прищурился Андрей Андреевич. – Тут, брат, дело такое... чудом-юдом пахнет...

– Да не тяни ты, не дразни. И что у тебя за навада такая – резину тянуть. Что там? Чебакам руниться рано. Поди-ка, сазаны где-нибудь в курью набились... Так они сегодня там, а завтра – ищи-свищи...

– Выше бери, выше...

– Ну, ёлкин дед, говори же ты, не мурый!

– Давай-ка ещё по маленькой... Так вот, слушай...

Выслушав сбивчивый рассказ уже изрядно подхмелевшего Суханова о том, как тот, будучи на чабанской стоянке в верховьях реки, вместе с другими людьми видел идущую против течения огромную рыбину, азартный, к тому же разгорячённый водкой Долгополов вскочил:

– Ясно – таймень! Метра три, говоришь... Многовато. Но добавку прощаю. Сам рыбак. Давай шарахнем ещё по стопарю и спать. Ты со своими делами, говоришь, в городе управился? Впереди два выходных. Машина в гараже в полной готовности. Рассветёт – рванём... Значит, туда, к последнему омуту, голубчик пошёл, под истоки. Дальше ему хода нет. Там и прихватим. Метра три, говоришь... Да ладно, ладно – верю. Сам рыбак...

...Прихлопнув ладонью звякнувший будильник, Долгополов быстро оделся. Он прошёл в соседнюю комнату, где на диване похрапывал Суханов, и потряс друга за плечо:

– Полшестого! Открой сомкнуты негой взоры и полюбуйся на человека, который всегда держит слово. Сказал – с рассветом рванёт, и вот он – я. Какова сила воли, а?

О звонке будильника Долгополов умолчал. Да и то – другому с похмелья и звонок не поможет.

– Ты за рулем. А мне – чуток. Башка вот-вот взорвётся... – Суханов шагнул к неубранному столу, налил стопку.

– А-а, хрен с ним! Плесни и мне. Всё равно от меня водярой воняет, – подвинул рюмку Долгополов.

Больше пить не стали.

Долгополов открыл холодильник. Сложил в рюкзак остатки колбасы, кусок сыра. Вынул из висящей на стене сумки две булки хлеба и батон, уложил их в целлофановый пакет. Молодец жена, как будто знала – позаботилась.

Суханов оделся, но в сборах не участвовал, лишь напоминал, подсказывал:

– Бутылку-то прихвати. Вон на подоконнике стоит. Целёхонька! Хорошо, что вчера не выжрали. У костерка за милую душу пойдёт... Лук, лук не забудь! На уху всё равно добудем... Чёрт! А соль?! Чуть самое главное не забыли! Уху без соли не сварить. Да и это... не слазить бы... Ну, если попадётся что... – Похмелившись, Суханов вновь заметно опьянел и, как это с ним всегда бывало в подобных случаях, стал многословным и громкогласным.

– Да взял я соль, взял! – раздражённо отозвался Долгополов. – Ты бы потише орал. Стены у нас – сам знаешь. Здесь шепнёшь – на первом этаже слышно. А соседи ещё спят. Вот, почти целая пачка. На трёхметрового тайменя, может, и не хватит, но на метрового – за глаза...

– Смеёшься. Ну, погоди – увидишь! Шалку снимешь и пару пузырей поставишь... Да ладно, не ждать же, когда магазины откроют. Магазины откроют – менты проснутся. Махнёт палочкой, под нос трубочку: «Дыхните!» И выложишь права, солёными слезами уливаясь... Вот и будет тебе соль.

Советовать, подсказывать, напоминать Суханов продолжал и в гараже:

– Так, та-а-ак, сети, значит, взяли. Добро! Топор, лопатку не забудь. Дорога есть дорога... Фонарь, фонарь! Не головёшкой же светить... Та-ак... Лодка, вёсла, насос, клапана... Шнур, шнур прихвати! И, вон,

одежку мне свою рабочую дай, не в костюме же мне рыбачить...

И хотя Долгополова подсказки и напоминания друга чуточку раздражали, он понимал – Суханов прав. Порой многообещающая охота или рыбалка срывались из-за какого-нибудь пустяка. Стоит, скажем, забыть маленький мешочек с лодочными клапанами – и рыбалка насмарку.

– Поедем напрямик. Километров тридцать сэкономим. Дорогу я знаю. Ко мне на обратном пути заедем. Анна меня сегодня домой не ждёт, психовать не будет. На омуте сетушки бросим, крокодила погоняем. У костра посидим... А потом – ко мне. Будет рыбёшка – Анна такой пирог закрутит – пальчики оближешь. – Суханов закурил, откинулся на спинку сидения. – Ну, с Богом, поспевай не спеша! На семнадцатом километре с трассы отворот на просёлок будет. Задремлю – не проскочи...

...В первое мгновение калуги испугались друг друга. Самка напрягла плавники и резко замедлила движение. Упругое течение развернуло её и отнесло назад. Самец молнией метнулся в другую сторону.

Но любопытство и зов природы победили страх. Рыбины сблизилась, внимательно осмотрели друг друга и соприкоснулись боками. Это соприкосновение было выражением взаимодоверия, призывом к любви и дружбе.

Течение в омуте медленное, круговое. Казалось, река сама старалась сблизить, соединить хозяина омута и его неожиданную гостью. Самец гарпунным ударом острого носа убил проплывающего мимо краснопёра и подтолкнул его к самке. Самка приняла утешение и в знак благодарности позволила самцу прикоснуться к ней ещё раз. Прикосновение было приятным. Живот самки чесался, требовал ласки всё сильней и сильней...

В играх и ласках прошли ночь и день. И снова над омутом заискрились, замерцали, поплыли наперегонки с лёгкими ключьями тумана ночные звёзды. Казалось, всё было, как и в предыдущую ночь, но калуги насторожились, ушли в глубину, легли на дно.

На закате за таловыми зарослями долго и зло рычала машина, слышались голоса людей. Потом чуть в стороне от затаившихся рыбин раздалось лёгкое шлёпанье, и проплыло что-то тёмное и страшное. Страшное тем, что это плывущее, шлёпающее то ли плавниками, то ли огромными перепончатыми лапами и дёргающееся то влево, то вправо чудище не было живым, хотя вело себя, как живое существо.

Потом всё затихло, успокоилось. Но прошло немного времени, и за сплетением тальниковых ветвей, над самой землёй вспыхнула ещё одна звезда. Она становилась всё больше и ярче. Её свет струился сквозь ветви кустов и затмевал свет привычных звёзд вмиг почерневшего неба.

Рыбы ощущали, осознавали опасность. К вниманию и осторожности призывали и многовековой опыт предков, и собственный опыт.

Но согрета ласками и играми кровь требовала движений. Первым оторвался от дна самец. Он опи-

сал полукруг и чиркнул брюхом по спине самки. Она очнулась о лёгкой дрёмы, вызванной долгой неподвижностью, шевельнула хвостом и тоже подвсплыла над своим мягким песчаным ложем. Одурманенные любовью калуги забыли об осторожности...

– Что-то не слышать и не видеть твоего тайменя, – Долгополов поднялся, выдернул из чурбака топор. – Разомнусь... Срублю вон ту сухостоину, ишь раскорячилась... Сети ставили, чуть мне глаза сучками не выдрала.

– Хрен его знает, где этот таймень, да и таймень ли... Сам видел – во! – разбросил руки Суханов. – Больше двух метров будет. Всю жизнь рыбачу, таких не встречал.

– Подпили, поди, с чабанами, вот и развело глаза!

– Не веришь – не надо! – начал раздражаться Суханов. – Не первый год с тобой охотимся, рыбачим. Врал я когда тебе?.. Вот то-то...

И уже вслед удаляющемуся Долгополову крикнул:

– Ты там сетушку пощупай! Ту, что справа, в кuryюшке. У неё ячeya поменьше. Может, какой ленчишка заскочил. Пора бы и ушицу сварганить! А водочку я сразу по приезду вон там, в родничок поставил!

На кустах тальника, освещённых костром, заплясали, заметались тени. Долгополов начал рубить сухостоину. Отрубив одну из ветвей, притащил её к костру.

– Вот она, городская жизнь. Срубил ветку – и дух вон. А в сеть нашу коряжину занесло, верёвкой скрутило. Попробовал тянуть – корягу куда-то вбок тащит. Накрылась сетушка. Жаль, всего третий раз ставлю. К утру и тетивы не останется.

Суханов демонстративно неспешно поднялся с расстеленного на траве брезента. Отряхнулся. Одежда друга стесняла Суханова – не своё. Порвёшь, прожжёшь, вымажешь – будет неудобно.

– Та-а-ак-с, Сергей Ильич... Говоришь, коряжину в сеть занесло... куда-то вбок тащит... Бери-ка топорик, пойдём вместе сухостоину пощипаем, а заодно и сетушку пощупаем. Вбок, говоришь, тащит...

– Ты что... думаешь...

– Не ручаюсь, но посмотреть надо.

– Не может рыба такой быть... Бревно, топляк...

– Вот и поглядим. Пошли!

Подойдя к колу, к которому была привязана сеть, Суханов остановился.

– Дай-ка закурить. Я у костра сигареты оставил.

Долгополов протянул ему сигареты, чиркнул спичкой. Отражение крошечного огонька искоркой мелькнуло на остром лезвии топора на стиге руки Долгополова.

– Ну, что там, Андрей Андреевич?

Суханов и Долгополов, сами не замечая того, стали называть друг друга по имени-отчеству. Так они делали в редких торжественных случаях, как правило, за праздничным столом, когда собирались раз-два в году семьями. В общем, в особо важные моменты общения.

– Не суетись, Сергей Ильич, не суетись. Говоришь, вбок коряжина потягивает... вбок... Вот только как она

может потягивать-поддёргивать, коль сеть в курьюшке стоит, а? Выпили с чабанами... Померещилось нам! Кто знает... кто знает...

– Ух, мать твою! – уже стоя по пояс в воде, испуганно-восторженно заорал Суханов. – Вот это прёт, подлюга! Бери конец, подтягивай, а топор мне! Топор!

Долгополов шагнул в воду, отрешённо отметив: «Тёплая...», протянул Суханову топор и ухватился за мокрый, скрученный верёвкой конец сети. Сеть натянулась, запружинила, заходила из стороны в сторону.

– Тяни! Тяни! – захрипел-зарычал Суханов. – Тяни!

В темноте послышались два хлестких и в то же время мягких удара, тяжёлый всплеск и уже не хрип-рык – истеричный визг-вой Суханова:

– У-у-у-у-шэ-о-о-ол! Ушэ-о-о-ол!! Мать-перемать! У-у-у-ш-о-о-о-ол!!

...Самец описал второй полукруг и стремительно пошёл вдоль берега к небольшому и неглубокому заливику. Там утром они с самкой лакомились маленькими, но вкусными вьюнами. Самец острым носом взрывал мягкий ил, самка ловко подхватывала на мгновение оцепеневшего от страха вьюна, а затем помогала поймать рыбёшку самцу.

Ничто не помешало бы им охотиться на вьюнов и ночью. Темнота её не была крошечной. Над горизонтом уже всплывала златобоккой рыбиной молодая яркая луна, а на промытом вечерней прохладой небе огнисто сверкали зелёные и жёлтые звёзды.

Самка мягко, кокетливо шевельнула хвостом и поплыла к самцу.

То, что произошло с самцом в следующее мгновение, испугало её.

Едва войдя в створы заливики, самец вдруг дёрнулся, перевернулся на спину и беспомощно замахал, задергал хвостом.

Самка отпрыгнула, прижалась ко дну. Полежав и успокоившись, она решила, что судорожные поддёргивания могучего тела самца – приглашение к какой-то новой, неизвестной ей игре, и стала осторожно приближаться к нему. И когда она была уже рядом с ним – слышались голоса людей, треск веток, шорох травы.

Самка снова легла на дно. Она могла мгновенно уйти в спасительную глубину, но не сделала этого. Мудрая, много повидавшая и много знающая рыбина поняла: её друг в смертельной опасности. Но она не знала, что делать, что предпринять. И когда вдруг, подчиняясь неведомой силе, самец пошёл к берегу, прямо к орущим, плюхающим в воде людям, она просто ринулась за ним. Ведь и у людей иногда женщина – мать, невеста, жена – бросается за сыном, женихом, мужем в огонь и в воду, не рассчитывая, не надеясь спасти его – в порыве разделить его судьбу, его горькую долю.

...Два страшных удара топором на какое-то мгновение вывели самца из оцепенения. И он, тоже, как человек, в свой последний миг встающий со своего смертного ложа и тянущийся к солнцу, к жизни, рва-

нулся назад, в глубину, тяжёлым ударом хвоста отбросил от себя убийц, разорвал липкие тенёта сети и вырвался из курейки.

Развернувшись, всем телом оттолкнувшись от мягкого, снижающего силу толчка илистого дна и самка. Ещё бы миг – и вот она, глубина! – тихая, тёмная, недоступная, спасительная... Но что это?! Та же неведомая, а потому дважды страшная сила, которая пыталась покорить, убить самца, вдруг схватила её за голову, за плавники ошеломив, не позволяя опомниться, собратся с силами, потащила к берегу, к людям...

– Не ушёл! Не ушёл! Здесь он! Здесь! Врёшь – всю сеть не порвёшь! Я его по башке два раза топором шуранул, долго брыкаться не будет! Тащи, Сергей, тащи! Наш он! Тащи! – Суханов отшвырнул топор в сторону берега и вцепился в сеть обеими руками. – Наш он! Тащи!

Выволочив огромную рыбину на траву, Суханов и Долгополов повалились рядом с ней и с минуту лежали неподвижно и молча. Несколько раз тяжело шаркнув по траве хвостом, замерла и спелёнутая сетью рыбина.

– Сигареты размокли... В машине, в бардачке, ещё пара пачек. Сходи, Андрей, а... Покурим... – нарушил тишину Долгополов.

– Шас... Тоже задохнулся совсем... Сердце в пятки ушло... – Суханов тяжело поднялся и, миновав застывающий костёр, направился к машине.

– Фонарь там, на сиденье, захвати. Посмотрим, что за чудо-юду добыли. Ишь, громадина. Действительно, крокодил настоящий! – крикнул ему вслед Долгополов.

Луч аккумуляторного – «шахтёрского» – фонаря рассыпался-растёкся по тускло-серому телу рыбины.

– Что это, Андрей?! Ёлкин дед! Да это же не таймень – осётр! Ну, конечно же, осётр! Я таких только на картинках видел... Откуда он здесь?!

Суханов направил луч на голову рыбины.

– Ни хрена себе! Факт – осётр! Калугой он называется. Старики рассказывали – их раньше в Большой реке много было. И в нашу реку они иногда заплывали, нерестились. Против нашего села даже Калужий плёс есть. Так и называется – Калужий! Я ду-мал, просто, ради красного словца, так называли...

– Сигареты принёс? Дай закурить. Вот натворили беды... Кто бы знал... Рыбинспекция сейчас нагрень – пришлось бы срок мотать. Тут, брат, никакими штрафами не отделаешься... Может, в воду стащим – очухается...

– Ты что?! – вскинулся Суханов. – Раз в жизни такая везуха – и совесть заиграла! Кое-кто осетринку каждый день жрёт и ничего – не краснеет, ни за пором, ни поносом не страдает. А ты – «В воду...»! Да и не оживёт... Говорю ж, я ей там, в воде, по башке топором пару раз врезал. А сроки-штрафы... Здесь на сто километров вокруг не то что рыбинспектора – собаки нет. Так что, успокойся. Берись, вон, за сеть, всё равно одни лохмотья остались, а я с этого бока подхвачу – к костру её, разделить как следует надо, уло-

жить – и домой ко мне. На всех парах! Соли у нас в обрез, а без соли она за полдня пропадёт. Мясо у неё, сам понимаешь, нежное, недаром осетринку белым людям лакеи с поклонами подают, а днём сейчас жарынь – под сорок...

Суханов провёл лучом по траве.

– Вот топор, у самой воды. Хорошо, что я его до берега добросил, а то бы пришлось эту громадину ножами ширкать. Прихвати его и... подхватывай... подхватывай... К голове ближе подхватывай!..

Чиркая по дну свинцовыми грузилами обрывка сети, намотавшегося на плавник возле хвоста, самец медленно плыл вниз по течению. Боли от ударов топором он уже почти не чувствовал. Вода заласкала, притушила её. Прошёл и страх. Однако на смену боли и страху приходило другое, с чем сильная, здоровая рыбина была ещё не знакома, – словно китайская паутинная сеть тело её опутывала слабость...

Из глубоких ран безостановочно сочилась кровь. И хотя в тёмной ночной воде она была не видна, её запах привлек мелких рыбёшек. Вспархивая, как бабочки, извиваясь, вспыхивая во тьме серебряными блёстками, они неотступно шли за слабеющим великаном и, словно мстя за свои прежние страхи перед ним, за гибель в его пасти тысяч и тысяч таких же, как они, беззащитных лилипутиков, ловили крошечными ртами капельки его крови.

Несколько раз в обрывок сети, волочащейся за истекающим кровью самцом, попадались увесистые налимы. Этих умных и осторожных обитателей речных глубин заманивали в сеть прыгающие по дну, очень похожие на спешащих куда-то лягушек грузила. Но скользкие, упругие, будто литые налимы легко выпутывались из ячеек сети и, на секунду отпрянув, снова устремлялись в погоню за грузилами.

А самец всё плыл и плыл, не чувствуя подергивания обрывка сети попадающими в него налимами и даже не осознавая, куда плывёт. То слева, то справа он видел над собой светло-жёлтые, тускнеющие и расплывающиеся, пятна далёких звёзд. А ведь ещё совсем недавно он видел небо не скользящими бледными блёкнущими полосами, а широким и чёткозвёздным. Видеть небо, рассчитывать свой маршрут и просто осознавать, оценивать окружающую обстановку ему всё больше мешали нанесённые топором раны. С края одной из ран свисал лоскут отполоскавшейся добела кожи, при малейшем повороте закрывающий и без того полуослепший глаз.

...Умирающую рыбину всё ближе и ближе сносило к берегу...

Подтащив калугу к затухающему костру, Суханов и Долгополов укрепили фонарь в развилке ветвей ближайшего куста и направили его свет на рыбину. Конечно, разделять её можно было бы и при свете костра, но они решили дрова в костёр не подбрасывать – большое пламя будет видно издалека. И хотя были уверены – вокруг на двадцать-тридцать вёрст ни души, тревога и лёгкий страх царапали. Такую

щекотку от лёгкого страха они ощущали когда-то мальчишками, скрутив золотую голову подсолнуха у какой-нибудь столетней бабушки Авдотьи. И боязно: попадёшься – влетит от бабушки, от родителей, и знаешь: если влетит – влетит не больно, так для шума, для воспитания. Да и попасться старушке, уже давным-давно почти не встающей с постели, – это, как говорится, уметь надо.

– Икры-то, икры! – восторженно взвыл Суханов. – Куда её? Давай рюкзак! Вываливай из него всё и подставляй. Но сначала – соль! Стой! Всю не высыпай. Надо ещё и саму рыбину подсолить. Да!.. Говорил же я – «крокодил», так нет – «глаза у нас по пьянке развело...»! Можно было бы и открытие магазина подождать.

– Ты же сам сказал: «Магазины откроют – менты проснутся...»

– Ладно, ладно... Сыпь аккуратнее, каждая крупинка на счету.

Долгополов, сам не понимая почему, не радовался ни небывалой добыче, ни обилию икры. Его тихо злили, раздражали команды-окрики Суханова, расторопность и находчивость друга. Однако он делал всё, что от него требовалось.

Тяжёлые, мертвенно белеющие куски рыбы они сложили в чехол из-под лодки. Резиновая лодка Долгополова была рассчитана на несколько человек, и чехол вместил все куски.

– Ха... А башка-то у неё целая, – подняв и рассматривая голову калуги, удивился Суханов. – А я точно пару раз ей по черепку топором врезал.

– Может, промазал или в другое место попал... – равнодушно откликнулся Долгополов.

– Может... – не стал спорить-рассуждать Суханов. Он почувствовал настроение друга и старался не раздражать его.

Уложив мешок и рюкзак в машину, Суханов и Долгополов подбросили в еле тлеющий костёр несколько тонких таловых веток.

– Ну что, не грех и sprysнуть. Водочка в родничке – самый смак! Тяпнем по стопарику – и в путь! – наигранно бодрясь, почему-то смущённо предложил Суханов.

Бутылку опорожнили быстро, наспех закусив сыром и хлебом. Не укладывая, скомкав, втиснули в багажник спущенную мокрую и грязную лодку, вылили в зло зашипевший костёр набранную для чая воду. Торопливо, толкая друг друга плечами, собрали валяющиеся на траве баночки, коробочки, вытряхнутые из рюкзака, и вместе с прилипшим к ним мусором, не разбирая, не складывая, сбросили в машину. Туда же сунули топор, фонарь, завернутую в куртку неиспользованную сеть. И облегчённо – так, наверное, бывает, когда преступники покидают место преступления – разом выдохнули:

– Поехали!

...Подкрадывающаяся к ещё неостывшему кострищу, привлечённая запахом рыбьей крови, крошек хлеба и сыра, лиса была молода, но осторожна. Она

долго всматривалась в темноту, прислушивалась к удаляющемуся урчанию машины.

Полизав окровавленную траву, лиса припала на передние лапы, вытянула шею и почти дотронулась до корочки сыра. Но...

...Лёгкая рябь пробежала по лунной дорожке. Заплясали, заныряли чуткими рыбацкими поплавами отражения звёзд. Откуда-то бесшумно вынырнула ондатра. Она пересекла омут, быстро настригла острыми зубами пучок травы и столкнула его в воду. Теперь предстояло доставить его домой – в уютную, высланную мягкой, высохшей тиной и такой же травой нору. Конечно, ондатра могла бы заготовливать траву и на родном берегу, а не плавать за ней через открытую, а значит, опасную гладь омута. Но она была опытной, рачительной хозяйкой и, как могла, приберегала ту – «домашнюю», ведь её можно было убрать, заготовить в любое, даже дневное время.

Лёгкий шорох насторожил зверька. Ондатра подняла голову, внимательно посмотрела в сторону, где промышляла лиса, и, убедившись в безопасности, стала подталкивать пучок к своему берегу. Но...

Лиса не дотянулась до корочки сыра.

Намок, ушел под воду, рассыпался на отдельные травинки пучок-снопик ондатры.

Раздался громкий всплеск. Качнулись от набежавшей волны свисающие с кочек жёлто-зелёные бороды трав. С шумом взлетела из чёрной гущи таловых кустов какая-то чёрная птица.

И зверьки мгновенно исчезли.

Это ударился о берег вконец ослабевший, почти потерявший сознание, но всё ещё несущий в себе жизнь самец калуги...

Долгополов пьянел. Без малого два стакана водки, наспех зажёванные кусочком хлеба и ломтиком сыра, усталость и какое-никакое, но всё же нервное напряжение делали своё дело. Машина вильнула раз, другой, третий...

– Крепче за баранку держись, шофёр, – пошутил вынырнувший из дрёмы Суханов. Но шутка прозвучала вяло и мрачно.

– Помнишь, в позапрошлом году мы где-то в этих местах в промоине чуть ли не сутки сидели? – продолжил Суханов. – Ладно, что тогда мужики наши мясца добыть ехали – выдернули. У нас земля ранимая – песок да гравий. Засуха – беда и дождь – беда. Чуть пополющит – таких рытвин наразмоет – не пройти, не проехать. Любая ямочка ямищей становится. Недаром же буряты раньше обувь с загнутыми носами носили – землю берегли. Зацепи носком сапога – через год на этом месте овраг будет...

– Да не гунди ты, лектор нашёлся! – грубо оборвал Суханова Долгополов. – Без тебя тошно. Мутит. И на хрена мы этого осетра убили... сожрать не сожрём. Много ли в холодильник напихаешь. Раздать-продать – слухов, разговоров не оберёшься... А там, глядишь, и за шкурку возьмут. Тьфу!

– И чего ты, Сергей Ильич, яришься. Я ведь тоже не знал, что там не таймень – калуга пасётся. И сеть мы ставили вместе, и вытаскивал не я один... А ты теперь дуешься, плюёшься, как будто ты не при чём – с божнички глядел...

– Предлагал же, отпустим...

– Предлагал, когда она уже дышать перестала. – Водка начала одолевать и более стойкого Суханова. Раздражение полилось и из него. – Если прямо говорить... Ненадёжный ты человек, Сергей Ильич, ненадёжный. Помнишь, мы изюбра завалили? Ты тоже мне полдня мораль читал! Слюнявил: «Ветврач живность любить должен! Лечить! Не бить! Обя-а-зан!..» А сам же ему пулю под лопатку загнал и мясо потом жрал-нахваливал...

– А ты... Да пошёл ты!..

Машину резко тряхнуло. Долгополов нажал на тормоза, машину потащило куда-то вбок. Она резко накренилась, но, к счастью, не перевернулась.

– Приехали, мать твою! – вывалившись в распахнувшуюся дверцу, завопил Суханов. – Говорил – смотри, куда прёшь, не по асфальту едем! Камень, вот, спас, а то сейчас лежали бы вверх колёсами! Покорячимся теперь, пока из этой могилы выберемся... Хорошо, что ещё топор да лопату взяли...

– Ну, ладно, ладно, хватит! Засели крепко. Давай-ка лучше всхрапнём, а потом выкарабкиваться будем – миролюбиво заговорил Долгополов. Он чувствовал свою вину в том, что произошло. – Не спали, считай, всю ночь, вот и не разглядел. Да и перепили малость... Вздремнём, отдохнём, и всё образуется. Где наша не пропадала...

– Где наша не пропадала, – минут через пять тоже миролюбиво повторил Суханов, укладываясь на брошенный на неостывшую за ночь землю пиджак. Хмель начал выветриваться. Побаливала голова. Он тоже устал и хотел спать...

Яркое утреннее солнце высветило на дне омута огромную рыбину. Она лежала вверх брюхом и, если бы не едва заметные судорожные движения жаберных крышек, могла показаться мёртвой. С белого брюха рыбы на донный песок стекала тонкая дымчатая струйка созревших молок...

Суханов и Долгополов проснулись поздно. Хотелось пить. Метрах в двухстах от них зеркально сверкала река.

Осмотрев машину и место вокруг неё, друзья вздохнули:

– Придётся попотеть.

– Придётся...

Чтобы вывести машину на ровное место, надо было сравнять солидный гребень, перекидать кубометра два каменистой земли.

– Пойдём попьём, наберём воды, помоемся, – кивнул Долгополов в сторону реки.

– Пошли, – согласился Суханов. – Сейчас я котелок возьму.

Он подошёл к накренившейся машине, осторожно открыл вторую дверцу, не влезая в салон, достал котелок и, не взглянув на Долгополова, пошёл к реке.

Догнав его, Долгополов пошёл рядом.

– Ничего, выскребемся. Жратва кое-какая есть, вода рядом. Припрёт – икрой подзаправимся, этой самой... калужатины нажарим.

– Чёрт тебя поймёт. То в грудь себя бьёшь, волосы рвёшь, на меня чуть ли не в драку лезешь: «На хрена мы этого осетра убили...», то икрой подзаправиться собираешься... Только шиш нам, а не икра!

– Ха!

– Вот тебе и «ха» – воняет там.

– Где?

– В машине! Ты что, не проспался? А спали-то до о-олгонько... Иди, понюхай! Тут соли не пачку – десять надо было! М-да... мутота получилась...

Вернувшись к машине, Суханов выволок рюкзак с икрой.

– Ну и вонища!

– Хрен с ней! – безадресно разозлился Долгополов. Он схватил рюкзак за ляжки, волоком оттащил его метров на двадцать от машины и вывалил икру в первую попавшуюся ямку. Минуту помедлив, бросил туда и рюкзак.

– Рюкзак-то зачем? – кивнул подошедший с лопатой Суханов.

– Да ну его! За месяц не отстираешь... Надо и рыбу проверить.

– Чего её проверять. Не провоняла, так через час провоняет. Солнце-то, ишь, наяривает...

Молча выволокли чехол с рыбой. Один из кусков выскользнул из брезента. Его тут же облепили тяжёлые ярко-зелёные мухи, до этого вразброс гудевшие над машиной.

– Вони-ш-ш-ша! – сам не зная почему, скорее всего от неосознанного желания лишний раз уязвить Долгополова, явно позёрствуя, прикрыл ладонью нос и рот Суханов. – Подхватывай, поташ-ш-ш-шили...

– Чего ты выделяешься? Нашёл время паясничать!

– А что мне теперь, плакать что ли? Ага! До города доедем, в церковь ходим – свечечки поставим да это... как его там... исповедуемся... Давай в эту яму вывалим. – Суханов ухватился за нижний край чехла.

– Брось. Стаскивай целиком. Так завалим. – Долгополов вытер руки пучком травы и бросил его в яму.

– И чехол не жалко?.. Новый...

– Тебе надо – бери.

– Я что – тряпичник? Ты будешь выбрасывать, а я подбирать! Может, тебе ещё в ножки поклониться да спасибо сказать?..

...У машины лопатой работали по очереди. Отдыхающий шёл к реке, окупывался, приносил в котелке воду. Она быстро нагревалась, пить на жаре тёплую воду не хотелось.

Не разговаривали.

Изредка зло матерились.

Несколько раз всё так же молча перекуривали.

Выгнав машину на ровное место, протёрли травой сиденья, пол, дверцы. Сходили теперь уже вместе к реке, искупались. Суханов переоделся в свою одежду.

...Минут через пятнадцать-двадцать Долгополов вырулил на пыльную, но ровную дорогу.

– Коняшка у тебя – что надо, – видимо, желая завязать разговор, заискивающе и наигранно-бодро, похвалил машину Суханов, мельком, но напряжённо-внимательно взглянув на Долгополова.

– Ничего, – кивнул Долгополов.

Весь остальной путь до села, где жил Суханов, они проделали молча.

– Может, зайдёшь, – вылезая из машины у калитки своего дома опять наигранно-бодро спросил Суханов. – Жена обед сгоношит. Я в магазин сбегаю...

– Спешу! – Долгополов демонстративно резко захопнул дверцу и, зная, что Суханов уже не слышит его, обращаясь неизвестно к кому, добавил: «Подлец!»

Себя он подлецом не считал...

Прошло несколько дней, и тело самца калуги течение вынесло на мелководье. С раннего утра до позднего вечера над мёртвой рыбиной кружились чайки и вороны. Они не суетились, не дрались. Сытые птицы спокойны и миролюбивы.

По ночам из тальниковых зарослей, вдоль берега, к мелководью осторожно пробиралась молодая лиса.

А когда поднималась луна, и по тёмной воде пролегала золотая дорожка, по ней, толкая впереди себя пучок вкусной сочной травы, бесшумно проплывала ондатра.

Привычные всплески мелкой рыбы не пугали ни лису, ни ондатру...





Олег ПЕТРОВ,

родился в 1954 г. в Приморском крае. С 1960 г. живёт в Чите. По образованию – историк (1977) и юрист (2008). Член Союза журналистов России (1981), член Союза писателей России (2009). С февраля 2012 г. – председатель Забайкальской краевой организации Союза писателей России. С июля 2007 г. – главный редактор журнала «Слово Забайкалья». Автор детективных повестей «Бориска и Фёдор» (Чита, 2006), «Кольт 45-го калибра» (Чита, 2007), сборника иронической поэзии и прозы «Иронизмы» (Чита, 2008), документальной повести «Экипаж машины огневой», посвящённой 70-летию сражения на р. Халхин-Гол (Чита, 2009), военно-приключенческой повести «Снегири на снегу» (Чита, 2010). В 2003 г. в соавторстве с А.Е.Власовым опубликовал документальный исторический детектив «Свинцовая точка». Последние крупные творческие работы – роман-хроника «...Именем народа Д.В.Р.» и роман «Стервятники» (Улан-Удэ, 2009 г.; Москва, 2011): документальные исторические детективы, основанные на уникальных архивных материалах и рассказывающие о работе уголовного розыска и чекистов Дальне-Восточной Республики в 1921–1922 гг., а также о поисках богатейшего месторождения золота в Восточных Саянах и белоповстанческой деятельности в 1922–1925 гг. в Забайкалье отряда З.Гордеева. За роман «...Именем народа Д.В.Р.» удостоен литературной премии Губернатора Забайкальского края. В настоящее время готовится к изданию новая книга – «Испытание совести», в которую войдут три повести и три документальных очерка о репрессиях 1930–1940 гг. в Забайкалье.

ДНЕВНИК

На звонок открыла Надежда Васильевна.

– Здравствуйте, а Люба дома?

Любина мама с интересом оглядела с головы до ног вечернего гостя.

– Уж не Анатолий ли?

Толик смутился. И тут же сообщил, что это, конечно же, Люба рассказала матери о новеньком в классе. Неловко кивнул и устался на коврик у дверей.

– Лю-у-ба! – протяжно позвала Надежда Васильевна, отступая в сторону. – К тебе кавалер! – И отступила в сторону. – Ну, проходи. Замёрз? Чаю будешь?

Толик смутился ещё больше и отрицательно помотал головой.

В прихожую выпорхнула Люба. Простоволосая, в пёстреньком домашнем халатике. Домашняя, уютная. И Тольконо сердце в очередной раз ухнуло в бездонную яму.

...В девятом «Б» он действительно был новеньким. С первого сентября. Отца Толика перевели к новому месту службы. Из разговоров родителей Толик понял, что как минимум лет пять придётся пожить здесь. Мама в очередной раз выговаривала отцу о вечной неустроенности, он чего-то ей объяснял про дальнейший служебный рост, невозможный без сибирского этапа. «Это, Катя, самый верный трамплин», – в очередной раз терпеливо повторял отец. А Толик, сидя в другой комнате на раскладушке, обставленной стопками перевязанных мохнатым шпагатом книг, картонных коробок с одеждой и прочим семейным барахлом, ехидно хмыкал. Этот «самый верный трамплин» напоминал «День сурка». Про «трамплин» отец доказывал маме в Курске накануне переезда в Благовещенск, а оттуда –

в какой-то богом забытый таёжный гарнизон, потом – в такой же всеми забытый военный городок посреди выжженной солнцем степи, где даже трава росла с трудом, зато проплешин солончаков хватало с избытком.

После солончаковой степи-пустыни областной центр выглядел оазисом. Впрочем, лично Толик в этом оазисе задерживаться не собирался. Осталось совсем ничего – каких-то три года. А потом... Потом всё у Толика было predetermined однозначно – военный институт. Как бы ни хмыкалось, слушая мамини упрёки, адресованные отцу, но они совершенно не подтачивали твёрдое убеждение Панченко-младшего, что его жизненная стезя – военная служба. Но – никакого батиного технарства. Военная журналистика, и только она!

Наверное, ещё классе в шестом Толик обнаружил в себе какую-то необъяснимую тягу к чистому листу бумаги и желание записать на этом листе свои наблюдения и возникшие при это мысли. Причём, когда бы этим дело и ограничивалось. Отнюдь. Желание свои наблюдения-размышления сделать известными для окружающих было, пожалуй, ещё настойчивее, чем желание изложить мысли на бумаге. При переездах семьи от одного места службы Панченко-старшего к другому, понятно, для Толика менялись школы и классные коллективы, но как-то так вскоре выходило, что Толик вполне органично вливался в редколлегия стенгазеты класса или даже школы, а то и редакторствовал. Он сочинял заметки о школьных буднях и праздниках, сопровождая их собственноручными снимками, сделанными простеньким «цифри-

ком», рисовал незатейливые карикатуры и шаржи, придумывая к ним такие же незатейливые рифмованные подписи. В общем, проявлял себя личностью творческой и общественно полезной.

Со временем, взрослея, Толик незаметно для самого себя пришёл к очень интересному выводу: быть общественно полезной творческой фигурой и самому себе полезно. Учителя воспринимают тебя более доброжелательно, чем остальных, да и в классе твоё мнение повесомее прочих. Постепенно Толик вполне привык к мысли, что творческим умом он, новичок, пожалуй, всегда оказывается на голову выше уже признанных, устоявшихся ещё до его появления в очередном классе, лидеров. Не был он слабаком и в спортзале, учился без троек. Причём последнее никоим образом не было связано с общественно-стенгазетной деятельностью. Гранит школьных наук Толик грыз добросовестно. А своим интеллектуальным превосходством над сверстниками, как и над ребятами постарше, – в чём Толик проникался всё большей уверенностью, – не кичился. Вполне отчётливо осознавал, что это вряд ли кому-то понравится. Как говорил один из литературных героев: будь скромнее – и люди к тебе потянутся.

Так оказалось и на этот раз. Новенький в девятом «Б» не просто прижился с первых дней, но и обратил на себя внимание, оказался для одноклассников интересным и авторитетным. Голова варит, высказывается по делу, при этом не выпендривается. Беспроблемно приняли в свою компанию пацаны, с интересом поглядывали на симпатичного, умненького и спортивного одноклассника девчонки. А Толик...

Толик влюбился в Любу. Вот так – раз и готово! Как пишут в романах, с первого взгляда, пылко, до замирания при её взглядах на него. Увы, взглядами и прочими знаками только ему адресованного внимания Любаша Толика не баловала. К девятому классу её уже сопровождала слава чуть ли не первой школьной красавицы. Дюжие одиннадцатиклассники русоволосую стройную фею с зелёными глазами и пушистыми ресницами из девятого «Б» обхаживали, как только умели, активно «вил петли» вокруг неё «сильный пол» трёх десятых классов. Напрасно. Любаша игнорировала и тех, и других, а кавалеры из девятых и вовсе наталкивались на ледяную стену. И при этом – ни капельки высокомерия. Школьное общение – доброжелательное, ровное, приветливое. Но попробуй к Любаше подкатиться после уроков с самым невинным предложением – до дому проводить или – не дай бог! – предложить сходить в кино, на концерт заезжих рок-поп-музыкантов – полный шванц! Хорошо, если только презрительно губки скривит, а может и сказать чего-нибудь обидное, да так, чтобы и публика вокруг услышала. За словом в карман Люба не лезла. И вообще, была не только красавицей, но и умницей, – редкостное сочетание и вопиющее нарушение «золотого правила механики», как выражался отец Толика, давая оценку той или иной представительнице прекрасного пола любого возраста. А домой после школы, в кино или ещё куда Любаша обычно упар-

живала в компании двух своих неизменных подружек – светленькой, пухленькой, смешливой и синеглазой Наташи и молчаливой «восточной красавицы» Галии с исчерна-карими бездонными глазами и роскошной, не в дань модным веяниям, тугой и длинной чёрной косой. Три красавицы, но всё равно восхищённые мальчишеские взгляды выделяли Любашу. Толик не оказался исключением. И влюбился по уши, и игнорировался Любой как прочие хлопцы.

Последнее отравляло Толику жизнь. Девчонки давно представляли для него повышенный интерес, не был и он обделён их вниманием. По крайней мере, если предлагал избраннице донести портфель до дома, – отказа не встречал. Девчонкам его общество даже льстило. Но с недавних пор Толик стал воспринимать всё это как-то по-иному. Вот, например, Маринка, оставшаяся в том далёком степном гарнизоне. Даже снилась после отъезда. Толик написал ей письмо, сообщил свой новый адрес, поведал о школьном житье-бытье на новом месте, проиллюстрировав написанное несколькими фотографиями типа «я и местные достопримечательности». И довольно скоро получил конверт с такими взволнованными девичьими строками о «чёрной разлуке», что растерялся и сначала не знал, как на это отреагировать, чего в ответ написать. Написал что-то нейтрально-обыденное, но новое письмо от Маринки оказалось столь же эмоциональным, как и первое. И заставило думать о ней не так спокойно, как хотелось бы...

Впрочем, дело это прошлое. Красавица Любаша заслонила Маринку окончательно и бесповоротно. И это несмотря на то, что он, Толик, для Любы – никто и звать его никак. Произвести на неё впечатление своими творческими и прочими талантами не получалось. Хуже того, некоторые попытки Толика поухаживать за Любашей стали заметны окружающим. Кто-то откровенно посмеивался над ним, а верзила Рома из одиннадцатого «А», чемпион школы и призёр городских юношеских соревнований по вольной борьбе, специально подкараулил его в квартале от школы и без обиняков заявил максимально угрожающим тоном:

– Слышь ты, малолетка, не обламывай мне настроение. Тусуйся с другим тёлками. Любаня – это моя тема. Въехал?

– А она знает? – храбро спросил Толик.

– Чево? – не понял Рома-чемпион.

– Что она твоя «тема»?

Рома сгрёб Толика за грудки и прошипел: – Ну ты, борзуха... Ей решать, а тебе при любом раскладе – вилы... Я сказал – ты понял...

Чем бы закончилось выяснение отношений, сказать сложно, – оно было прервано появлением из-за угла двух учительниц, при виде которых «спортивная слава школы» предпочла ретироваться, адресовав напоследок Толику многообещающий (в смысле, ничего хорошего) взгляд.

Рома-чемпион Толика не напугал. Наоборот, укрепил в решимости достичь цели во что бы то ни стало. «Любаша – это моя тема!» – решительно подумал он,

выливая в спину удаляющемуся Роме мегатонну презрения. И принялся мучительно размышлять о наиболее верном способе достижения Любашиной благосклонности.

– Проходи, чего застыл, – голос предмета вздыханий и обожания вывел Толика из оцепенения. – Какие проблемы привели вас, сударь?

– Не-а, спасибо... – Толик мучительно покраснел. Губы Любы тронула лёгкая насмешливая улыбка.

– Так и будем здесь стоять? И по какому, всё же, поводу визит? – подбоченилась Люба, лукаво прищуривая глаза.

– Вот... – выдохнул Толик и протянул ей общую тетрадку.

– Что это? – Люба вскинула тоненькие русые брови. Она была прекрасна!

– Возьми, это дневник... – одними губами прошестел Толик.

– Дневник? – удивлённо переспросила Люба. – Что за дневник? Чей?

– М-мой, – промямлил Толик и, ещё раз с шумом выдохнув воздух, скороговоркой пояснил: – Это мой дневник. Личный. Привык для себя записывать... Это – последняя тетрадь. О тебе. Прочитай...

– Я чужие дневники не читаю.

– Но я разрешаю... Я очень хочу, чтобы ты прочитала... Я... – Толик шагнул к Любаше, сгибая обеими руками тетрадь пополам, и сунул её однокласснице в карман на халатике. Отпрянув, сбежал по лестнице на пролёт и оттуда крикнул:

– Ты всё узнаешь!

Потом он выскочил на улицу и быстро пошёл, почти побежал, прочь: почему-то ему казалось, что сейчас Любаша выскочит за ним следом и – случится нечто ужасное.

...Ужасное случилось назавтра.

Это был последний учебный день в первом полугодии. Три урока и классный час, на котором Людмила Николаевна, классный руководитель девятого «Б», должна была подвести итоги, продиктовать из классного журнала оценки за вторую четверть и за полугодие.

Когда Толик шёл, а вернее, плёлся утром в школу – ноги совершенно отказывались туда следовать, – позади была бессонная ночь, наполненная кошмарными раздумьями, а внутри нарастала волна мрачного и чёрного предчувствия чего-то непоправимого.

В класс Толик вошёл после звонка, за мгновение до появления «химички» Зинаиды Павловны, которая с порога возмущённо затараторила:

– Полгода впустую! Впустую! Результаты контрольной работы – тихий ужас!..

Толик плюхнулся на своё место и огляделся. Обычно пацаны, здороваясь, подмигивали, кивали головой, мол, привет, Толян. В этот раз все поголовно уткнулись глазами куда угодно: в стол, в пол, в тетрадь, в учебник, в окно... Никто даже головы к нему не повернул. Девчонки – наоборот. С демонстративным презрением окатывали его уничтожающими взгляда-

ми и брезгливо кривили личики. «Предчувствия его не обманули...» – эти строчки забубнили в голове в режиме нон-повтора. Толик мгновенно понял, что действительно произошло что-то ужасное, непоправимое и связанное исключительно с его персоной.

Он устался в белоснежный кружевной воротничок Любы, сидевшей на три стола впереди, но ни она, ни её соседка Галия – единственные, пожалуй, из всех девчонок, не шелохнулись, не обернулись...

«Химичка» завершила разгром одновременно со звонком на перемену.

Толик поднялся и шагнул к столу Витьки Борисова и Саньки Попова, ставших за полгода самыми закадычными друзьями в классе.

– Здорово, орлы! Чего тут у нас происхо...

– Это тебя надо спросить, – зло процедил Витька. – Писака хренов...

Санька промолчал, отвернувшись, а потом вместе с Витькой вышел из класса.

Толик глянул вокруг. Одноклассники спешили из класса в коридор. Такого сроду не было. Тем более что ещё вчера в классе началась и не закончилась бурная дискуссия о том, как класс будет впервые участвовать в новогоднем вечере для старшеклассников.

Снова прозвенел звонок. В самом нехорошем состоянии духа Толик вернулся на своё место. Автоматически отметил, что Лёнька Шишкин, его сосед по «парте», оказывается, не отсутствует по неизвестной причине, – в классе он, но почему-то пересел за другой стол, на место уже неделю грипповавшей Ленки Бородиной. «Странно, – машинально подумалось Толику, – что за новости?..»

Впервые не удавалось сосредоточиться на чём-то одном. Всю ночь, утреннюю тягостную дорогу в школу, урок химии, да и сейчас будоражило главное: что же Люба, что она скажет ему, прочитав дневник?.. А теперь голова и вовсе шла нараскоряку... В ночных и утренних переживаниях Толик с ужасом и оглушительным страхом гнал от себя самые трагические варианты Любиной реакции на прочитанное. Но сейчас... Нет, не может этого быть!!!

– Панченко! Ты не заболел? Па-анченко?! – Людмила Николаевна с недоумением смотрела на него поверх очков. – Ты где витаешь?

«Оп-па-па! Вместо второго урока – классный час?» – очнулся Толик, соскакивая со стула.

– Садись и записывай! Вот тоже чудеса в решете! – приказала «классная», с нарастающим удивлением рассматривая Толика.

– Да, да... Извините, – привычно ответил Толик, абсолютно не соображая, что надо записывать. А, ну да, итоговые оценки за полугодие в дневник.

«Дневник!» Конечно, дневник. Люба не только прочитала его, но и...

Всё внутри оборвалось. Толик почувствовал, как струйка холодного пота скользнула вниз между лопатками. «Вляпался по полной...»

– Ну, вот такие пироги, – сказала Людмила Николаевна и шумно захлопнула классный журнал. – Таким темпом во втором полугодии мы придём к неуте-

шительным результатам. А вас, дорогие мои, ждут экзамены...

Потом началось обсуждение новогодней программы. «Классная» похвалила Толика за новогоднюю стенгазету, но он этого не слышал, потому и не среагировал должным образом, что вызвало у Людмилы Николаевны новый пристальный, уже тревожный, взгляд.

– Анатолий! Анатолий!! Да к кому я обращаюсь?!

– Толик снова вскочил.

– Все свободны, до вечера, – сказала Людмила Николаевна. – Панченко, а ты задержишься на пару слов...

Все без привычного шума-гама покинули класс, отчего у Толика неприятно заныло под ложечкой. Людмила Николаевна подошла к нему.

– Что случилось? Ты, вправду, не заболел ли?

– Д-да... – выдавил Толик. – Можно, я домой пойду?

– Давай-ка мы с тобой к фельдшеру школьному...

– Да нет, всё нормально... Не спал ночью... Голова болела... – вяло возразил Толик. – Я пойду?

– Ну, смотри...

Толик вышел из школы. И... увидел своих одноклассников, стоявших полукругом на школьном крыльце. Остановился, глядя на них. Он представлял, что произойдёт дальше. Но ошибся. Ни слова ни говоря, каждый подходил к нему и совал в руки, в многочисленные карманы на куртке, за шиворот или просто швырял Толику под ноги листки. Листки из его дневника. Последней подошла Любаша и протянула ему изрядно отощавшую общую тетрадь.

– Дурак ты, Панченко. Дурак и подлец! – сказала Люба. – А я думала...

Она отвернулась и сбежала к остальным по широким ступеням школьного крыльца. Группками и по одиночке одноклассники подались прочь.

Толик угрюмо собрал листки в измятую пухлую пачку, ещё раз проверил, что их не осталось ни в карманах, ни на крыльце. Засунул остатки мятой тетради и эту пачку в сумку и пошёл домой.

Переходя узеньким длинным мостиком через речку, остановился над водой. Вода была чёрной и парила совсем узенькой полоской, – всю ширину реки давно сковал лёд, а этой промоиной речка была обязана городской канализационной насосной станции. То, что сливалось в речку, не давало ей окончательно покрыться ледяным панцирем даже в самый жгучий мороз.

«Самое место», – тускло подумал Толик. Он расстегнул сумку, достал останки дневника и бросил в воду. «Самое место... Дерьмо к дерьму...»

...Дневник, который Толик дал прочитать Любе, был им сочинён за неделю. Попустившись всем, Толик всё свободное время строчил страницу за страницей. Он периодически пытался менять почерк – с неторопливого, привычно-спокойного на скачущий, быстрый, лихорадочный. Менял шариковые ручки, чтобы различался цвет пасты. Некоторые записи делал карандашом, даже чернильной авторучкой или гелевой, синего и чёрного цвета, рисовал на полях чёртиков, самолётики, автомобили и прочую дребедень, свидетельствующую о минутах раздумий автора дневника. Дневник якобы начинался 1 сентября: «Сегодня начал учиться опять в новом классе. Ребята вроде бы ничего. Поживём – увидим. Но одна...» Дальше начинались лирические «впечатления» от встречи с Любой.

Фактически вся общая тетрадь «дневника» представляла собою пространное объяснение Любе в любви. Правда, методом от противного. Или от противных. В этой невесёлой роли выступали одноклассники, как и некоторые субъекты из других классов. Из числа тех, кто вился вокруг Любы. На разгромные характеристики Толик не скупился. Каждая запись в дневнике, который как бы создавался день за днём целое полугодие, должна была всё больше и больше убеждать Любу, что вокруг неё нет и не было достойных ему, Толику, соперников. Так, всякая тля ничтожная... А равно и он, препарировав характеры и поступки окружающих, якобы постепенно, опять же «день за днём», убеждался: да и девчонок-то лучше Любы нет – все с какими-то, на его взгляд, изъянами... Она должна была оценить столь принципиальный его выбор.

Но и в дурном сне, в ночных, столь тягостных и мучительных своих раздумьях, Толик даже предположить не мог, что его «творение», адресованное одной-единственной читательнице, приобретёт с её помощью, столь многочисленную и нежелательную аудиторию. Спасибо, Люба... И что же теперь? Десять дней новогодних каникул пролетят быстро. А потом? Встать перед классом и попытаться объяснить, для чего он это сделал? Кто поверит... Уболтать отца с мамой, чтобы сменить за время каникул школу? А как уболтать? Первым делом они решат, что без криминала, или, говоря батиним языком, «дедовщины» тут не обошлось. Батя – мужик дотошный. Да тут и дотошности не надо. Побеседует с парой одноклассников – вот и вся картина налицо... И картина написана не маслом. Дерьмом...

Толику показалось, что чёрная промоина внизу, давно поглотившая злополучные листки, стала шире. «Дерьмо к дерьму...»

ОСОБЕННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА

– Проходите, Александр Сергеевич, присаживайтесь.

Директриса отодвинула на край стола стопку картонных папок с замохнativшимися тесёмочками.

– Как вам первое впечатление?

– Нормально.

– Все явились?

– Нет. – Шишкин раскрыл элегантный ежедневник с логотипом железной дороги на виниловой обложке – презент Шишкина-старшего молодому педагогу. – Отсутствуют трое ребят: Макаров, Самылин и Богодухов...

– С этими – понятно. Я в курсе. Завтра-послезавтра вернутся. На дальних кошарах они. А Глушкина повилась?

– Так и нет.

– Вот что, Александр Сергеевич... – Директриса постучала сардельками пальцев по лежащему на столе толстому стеклу. – Завтра у нас пятница... Если Глушкина не появится, попрошу вас в субботу в Алей съездить. Непорядок...

– А у меня и в субботу уроки.

– Дело поправимое. Подойдёте к Ольге Васильевне, скажете, чтобы сделала перестановку. Да я и сама её озадачу.

Директриса перебрала папки на столе, поднялась и распахнула дверцы объёмистого книжного шкафа. Порывшись на полках, протянула учителю тощую картонную папочку.

– Личное дело Глушкиной. Вам, кстати, как классному руководителю, личные дела учащихся девятого «А» следует изучить, не откладывая в долгий ящик.

«Да у меня и нет долгого ящика», – чуть не брякнул Шишкин-младший по своей дурацкой комментаторской привычке.

– По утрам в Алей и Кашулан молоковоз ходит с мээфэ. Пока он там молоко собирает – вам времени хватает всё прояснить.

Шишкин развязал на папочке тесёмки. Из кармашка на внутренней стороне обложки на него глянуло ничем не примечательное девичье лицо – широкоскулое, с маленьким острым носиком, напряжённо поджатыми губами и чёрными точками зрачков под белёсыми ресницами.

– Не ахти какой подарок, – прогудела директриса. – Восьмилетку с одной четвёркой закончила, да и та – по физкультуре. Вон, гляньте сводный табель успеваемости...

«Табель – она», – снова чуть было не озвучил замечание Шишкин. Горе от ума... горе. Ляпнешь вот так – и враг народа навсегда. С начальством не умничают.

– Хорошо, Евдокия Ивановна, всё выясню. – Он пролистал тощее дело, выписал в ежедневник алейский адрес Глушкиной. – Разрешите идти?

– Идите... Да, Александр Сергеевич... – остановила молодого учителя уже у дверей директриса. – Планирую завтра посетить у вас уроки. Поэтому с утра попрошу ко мне с план-конспектами.

– Хорошо, Евдокия Ивановна, – с мягкой покорностью ответил Шишкин, хотя в продолжение «разрешите идти» его подмывало проорать: «Так точно!» или какой-нибудь там «Яволь, экселенц!»

Уроки директриса посетила, план-конспекты с утра изучила. Долго и тщательно вчитывалась в ровные строчки, выделенные в нужных местах разноцветной шариковой пастой. Это Шишкин-младший любил со студенческой скамьи. Его тетради с конспектами лекций, выписками из монографий и первоисточников всегда выгодно отличались от писанины сокурсников. И почерк – вполне, а где-то и восходящий к азам каллиграфии, и поля, и самим придуманные схемки по изучаемой теме, и выделенные главные мысли и постулаты, цитаты и выводы. В этом на курсе Шишкину равных не было. Посему был определённый спрос на шишкинские конспекты среди менее радивой части студенческой братвы, особенно в сессионную пору. И кстати, Шишкин не жлобствовал и на чужом горе не наживался. Сдача конспектов в аренду-списывание происходила на безвозмездной основе и выступала как гуманитарная помощь слабо развитым странам или территориям, пострадавшим от стихийных бедствий. Пользы – на копейку, благородного ажиотажа – на миллион. Конечно, в процессе долговременных отношений гуманитарной помощи иногда противоположный пол пробивали и иные чувства, а не только ощущение близкого товарищеского локтя или надёжного плеча. Усталая от постижения наук девичья головка непроизвольно склонялась на радушную грудь Шишкина-младшего... Ну и – вы сами понимаете. Зов природы не обманешь, не заглушишь, не убьёшь.

– Похвально, похвально, – подытожила изучение шишкинских план-конспектов директриса, терпеливо высиживая на уроках в опасливо притихших шестом и восьмом классах. – Похвально. Это, значит, вы, Александр Сергеевич, как я понимаю, сторонник новой методики Шаталова?

– Ну, в какой-то мере.

– Примечательно.

«Разбор полётов» директриса проводила у себя в кабинете, в присутствии завуча Ольги Васильевны.

– Конечно, в шаталовской методике есть и спорное, но дидактическая составляющая любопытна, – продолжала итожить свои впечатления директриса.

Наблюдая за Ольгой Васильевной, Шишкин-младший видел: умозаключения Евдокии Ивановны для завуча – китайская грамота. Чем больше директриса

распространялась, демонстрируя свои познания в новациях методики преподавания, тем с большим подозрением «сподвижница Макаренко» вглядывалась в молодого учителя. «Космополитизмом попахивает...» – читалось на её мумифицированном лице. Тлетворные, так сказать, происки буржуазного «схематизма и догматизма». «Изьмы», уже не раз слышанные из уст Ольги Васильевны Шишкиным-младшим, – её «фишка». Старшее поколение, Шишкин заметил это давно, ещё будучи школяром, а потом и студентом, по-другому и не выражалось. Создавалось впечатление, что прямо-таки существовала такая форма в русском языке в годы первых пятилеток и хрущёвской «оттепели», да и сейчас подобное с высокой трибуны очередного партсъезда или пленума ЦК КПСС сам Генеральный секретарь и пламенный продолжатель бессмертного ленинского учения Леонид Ильич-«четыре звёздочки» изрекал с завидной настойчивостью. Эхом ему вторили Политбюро, Совет министров и великовозрастные корифеи академической науки. А уж доценту кафедры истории пединститута или школьной «историчке» – ровесникам Робеспьера или Навуходоносора – сам бог велел.

– Обязательно побываю у Александра Сергеевича на уроках, – заявила Ольга Васильевна с интонацией недоброй памяти прокурора Вышинского, успешно разоблачившего и заклеившего немало врагов страны Советов.

– Обязательно, Ольга Васильевна, обязательно, – кивнула с одобрением директриса. – Я так думаю, – по-сталински медленно, с расстановкой, заключила она, – надо нам посоветовать районному отделу образования присмотреться к опыту трансформирования товарищем Шишкиным методики учителя Шаталова. Её нам рекомендует министерство, облоно, наш педагогический вуз. И нам подумать пора о её внедрении в преподавание не только точных наук, но и в гуманитарные предметы.

Ошалевшая Ольга Васильевна порывалась в буквальном смысле слова встать, – Шишкин-младший окончательно убедился, что про методику учителя математики Шаталова она вообще слышит впервые, – чтобы более торжественно внимать знакомым интонациям в голосе Евдокии Ивановны. «А похожа, похожа! – ликуя от сделанного открытия, наслаждался Шишкин-младший. – Вылитый Иосиф Виссарионович! Только и не хватает монументальной Евдокии Ивановне трубки и усов! Какая Салтычиха!.. Вождь всех времён и народов!..» Впечатление, надо сказать, заметно усиливал строгий деловой костюм директрисы. Настолько похожий на знаменитый френч «отца народов», что хотелось встать и запеть «Сулико».

В общем, договорились до того, что Ольга Васильевна «поможет» молодому педагогу подготовить показательный урок по шаталовской методике в руководимом им девятом «А», а уж сама Евдокия Ивановна пробыёт в районе сам урок – для учителей русского языка и литературы всех школ района. «Эва-на...» – только и пробормотал Шишкин-младший, выходя

из директорского кабинета пятничным вечером. Не было печали – купила баба поросю.

Замысел директрисы был понятен. И над школой развернуть бархатное знамя районного эпицентра педагогических новаций (а кто организатор, вдохновитель и руководитель наших побед?), и внимание к молодой педагогической поросли обозначить (а кто у нас так бережно заботится о молодых учителях?). Шишкин-младший тоже в стороне от славы не оставался. И это ему льстило, подзуживало его честолюбие.

Потенциальная слава молодого учителя (только он пока об этом не догадывался) тоже была заведомо оприходована Евдокией Ивановной, но уже в личных, матримониальных целях. Однако, не зря говорят: хочешь насмешить бога – поведай ему о своих планах. Но об этом позднее.

А ранним субботним утром невыспавшийся Шишкин приплёлся на колхозную молочно-товарную ферму, вернее на примыкающий к «мэтэфэ» комплекс по первичной переработке молока, возле серой стены которого в моторных внутренностях выдавшего вида «газона»-молоковоза копался шофёр-экспедитор Пётр Петрович Кущин, папаша девятиклассницы Вали из вверенного Шишкину-младшему класса и шалопая Кирьки из пятого «Б».

– Долго спишь, пе-да-гог! – весело прокричал, выснувшись из-под крышки капота Кущин. – Молоко, оно не ждёт! Будет Маша да не наша – притараним простоквашу!

– Да вы поэт! – подхватил тон Шишкин.

– Ага! Особенно ежели мне сто пятьдесят «с прицепом»! Ну, чё, погнали?

И они погнали.

Молоковоз летел гоночным болидом по ухабистой просёлочной дороге, поднимая такие клубы пыли, что уже через пять минут в щелястой кабине висела плотная взвесь, которую не выдувал свистящий справа и слева воздух. Двигатель ревел, весёлый Кущин старался его перекричать.

– Ну, чё, как там моя Валька?! Ты, Сергеич, ежели чего, – сразу мне! Огуляю по заднице ремнём! А чё Кирька? Лопочет на уроках-то? Дома-то он у нас – птица-говорун!

Шишкин кричал в ответ, мол, особых проблем не имеется.

– Это хорошо! Это я рад!

Кущин тыкал рукой то вправо, то влево.

– Вон тама грибов уйма! Грузди, рыжики! Любишь грибы, Сергеич?! Я – уважаю. Под маслёнок беленькая так идёт, так идёт!.. А вон, вишь, озерцо? От где карася, Сергеич! Лопатники, а не караси! Один на сковородку тока и влазит! Уважаешь карасей, Сергеич?! Я – дюже! Моя баба ихнего брата так жарить умеет – мелких костей как не бывало! Это, брат – цельное искусство! Но... А иначе карася и жрать невозможно – обплюёшься от костей! Но...

Со свистом пролетели довольно большую деревню.

– Кашулан! – прокричал Кущин. – Отделение колхоза! От них молоко на обратной дороге заберём, чтоб

понапрасну не растрясать. Нам цельный продукт нужен, а не масло! Масло наши сами собьют! Школу видал? Восьмилетка, а народу мало! Вымирает село, Сергеич! Всем город подавай! Она у меня Валька – тоже гундит: аттестат получу – тока вы меня и видели. В область учиться поеду, на ткачиху. А чо, Сергеич, он и вправду такой здоровый этот комбинат камвольный?

– Впечатляет!

– Ага! Тока, значит, рабочие руки подавай! А где живут?

– Там целый микрорайон расстраивается!

– Ага! Стало быть, ткачих море требуется! Ну а где ж там столько мужиков наберётся? Родим второе Иваново – город перезрелых невест! Ха-ха-ха! И кто, Сергеич, на селе работать будет, а? Жрать-то всем хотим! Эх, народ и партия едины! Была, есть и будет есть!

Кущин затейливо выругался, но Шишкин в шуме мало что понял.

– А вон, Сергеич, и Алей показался! Тебя где посадить?! Какая улица?! Что?! Да тут у них одна улица! Тоже народу – с гулькин нос!

С ревом пикирующего бомбардировщика молоковоз ворвался на центральную улицу, рассекающую село с востока на запад, и визгливо закричал тормозами возле раскидистой огромной черёмухи.

– Ты, это, Сергеич... Минут через сорок максимум тут стой, как штык! Ждать не буду – продукт сгублю, чуешь?! Как штык!

Кущин газанул и скрылся за домами, но продвижение молоковоза можно было легко проследить по густому пылевому облаку.

Шишкин-младший отплевался от песчано-глиняной взвеси, обхлопал, как мог, одежду – джинсы, куртку, повертел головой в поисках табличек с номерами домов. Оные отсутствовали.

– Чаво, милоч, выглядываш?

Из-за невысокого забора за Шишкиным зорко наблюдала, опираясь на грабли, сухонькая старушка в меховой душегрейке.

– Здравствуйте! Не подскажите, как мне найти дом Глушкиных?

– Оно-но как! – Бабушка с граблями, стиснула последние в сухоньких кулачках. – И какого лешего тебе у Глушкиных понадобилось?

– Да, это вам неинтересно, – отмахнулся Шишкин.

– Так, где они проживают?

– Нам всё интересно! – веско заявила старушка и, перехватив грабли поудобнее, придвинулась к заборчику. – По Катькину душу заявился, али как?

– Так и есть! – Ситуация Шишкина забавляла.

– Оно-но как! – уже не так грозно сказала «грабительница», положительно реагируя на улыбку молодого учителя. – Но ежели так, то чеши, милоч, вона туда, до заулка, – бабка ткнула черенком граблей, – а тама, в заулочном тупичке, и будет ихний дом.

– Большое спасибо! – снова улыбнулся Шишкин и зашагал в нужном направлении. Краем глаза засёк, как бабка повисла на заборчике, уставившись ему вслед.

Спустя пару минут он уже стучался в серую калитку. Стукнула дверь, и кто-то невидимый крикнул:

– Отперто! Заходите!

Голос женский, грубый, сердитый. Мда-с... Неприветливый что-то алейский народец, подумал Шишкин и толкнул калитку.

На крыльце, подбоченясь, стояла женщина лет сорока.

– Доброе утро! – вежливо кивнул Шишкин.

– Ага, доброе! – зло ответствовала женщина. – Чего надо?

– Глушкины здесь проживают?

– И что? Ну, я Глушкина.

– Вы, наверное, мама Кати?

– Ага... Явился! Ну, проходи, гость дорогой! – Глушкина ненавидяще глянула на Шишкина и по-мужичьи широко шагнула в сени. Недоумевая, он последовал следом. Из сеней через распахнутую дверь они вошли на кухню. Прямо напротив двери стоял круглый стол, застеленный пёстрой клеёнкой. На столе громоздилась вымытая посуда, а за столом, лицом к дверям, сидела девчонка и перетирала полотенцем тарелки. Шишкин её сразу узнал. Точное соответствие фотографии в личном деле оригиналу, только в цвете.

– Здравствуй, Катя!

Девчонка молча и испуганно уставилась на вошедшего.

– Ага! Значит, «здравствуй, Катя»? – повторила Глушкина-старшая и, снова подперев руками крутые бёдра, обернулась к дочери. – Он? Я кого спрашиваю? Он?!

Девчонка отрицательно мотнула головой и, опустив лицо, заплакала. «Опадали с дуба листья ясеня. Ничего себе, ничего себе...» – ни к месту мелькнуло у Шишкина в голове. Куда попал?..

– Та-ак... – протянула Глушкина-старшая и теперь повернулась корпусом к Шишкину. – И кто ж ты таков? Тоже «дембель»?

– Я – классный руководитель девятого «А» класса. Кати нет в школе, и мне поручили...

– Ага! Заботливый? Тут один тоже позаботился! Катька! Встань!! – скомандовала дурным ором Глушкина-старшая. – Встань, я кому сказала!!!

Девчонка медленно поднялась.

– Ещё вопросы будут?! – прокричала Шишкину в лицо Глушкина-старшая.

Какие вопросы!.. Катькин живот красноречиво разъяснял ситуацию и отношение к её возникновению упомянутого матерью неизвестного «дембеля».

– Извините, – пролепетал Шишкин и отступил в сени.

– Во-во! – крикнула вдогонку будущая бабушка. – Кончил в тело и гуляй смело! Дорогу они тут строят! Дембеля сраные! И ты недалеко ушёл, ишь бакенбарды развёл! Аристократия херова! Классный руководитель! Знаем, где вы ручонками водите пакостными своими! Кастрировать вас всех надо!..

Остальное Шишкин уже не слышал – и, слава богу. Громко переводя дух, он быстрым шагом покинул кошмарное место и поспешил к черёмухе-великанше.

– Чево-то быстро ты, милоч, освободелся!.. – старая «грабительница» так и висела на заборчике. – Прогнали?

– Прогнали, – вздохнул Шишкин.

– Оне такие... Глушчиха воопче людёв не перева- риват. От и Катька твоя от неё настрадалась, а тепе- рича и вовсе... – Старушка оставила забор, шустро проковыляла к калитке. Вышла наружу и уселась на вкопанную в землю у покосившихся ворот табурет- ку. – Оно-но как в жизни-то бывает... Катьку-то по- хорошему забрать бы отсель куды-нибудь, а? – Ста- рушка просительно заглянула Шишкину-младшему в глаза.

Помедлила и, оттянув уголок глаза сухоньким пальцем, пристально взгляделась в учителя.

– А не тот ты, не тот... Тот светленький был, Кать- кин кавалер... Солдатик... Смешливый такой хлопчик, вертлявый...

– Я – учитель из школы, – почему-то почувство- вал потребность хоть как-то оправдаться Шишкин.

– Оно-но как... – протяжно и разочарованно ска- зала старушка. – Дык, кака ж Катьке нынче учёба- то... Ея теперя на мамку учиться надобно, э-хо-хо...

Издали раздавалось рычание автомобильного мото- ра, возникло и покатилося к раскидистой черёмухе облако пыли, из которого торчала голубая морда мо- локовоза. Завизжали тормоза.

– Сделал дело, Сергеич?! – прокричал, высовыва- ясь из кабины, Кущин. – Давай, садись, молоко киснет!

– До свидания, извините, – попрощался с «граби- тельницей» Шишкин.

– Будь здоров, милоч...

Обратную дорогу Кущин опять о чём-то балагурил, но Шишкин его слушал вполуха, отвечал невпопад.

Кущин скоро понял, что учитель не в себе и перестал донимать его болтовнёй. Прикатили в Кашулан, где молодые улыбочивые доярки шустро перелили соро- калитровые фляги в цистерну молоковоза, сопровож- дая эту тяжёлую атлетику шуточками в адрес пасса- жира молоковоза.

– Петрович, так ты не за молоком? Женишка на смотрины привёз?!

– А женишок грустный какой! Оставайся, разве- селим!

– Подоим в восемь рук!

Кущин осуждающе качал головой с высоты моло- ковозной цистерны.

– У, шалавы! Чё другое на уме есть?

– Есть, Петрович, есть! А чего те надо? Дам!

– Слышь, кавалер, ты Петровича не бойся, он не выдаст! Пойдём, я тебе корову покажу. Такие сись- ки!

Кущин опрокидывал фляги в цистерну и опускал пустую тару вниз, в руки Шишкину.

– Ты, Сергеич, их не наповаживай! У них здоро- вья – не нам тягаться. Вон, как трактора, прут!

– Не мешай, Петрович! Хучь подле твоего моло- ковоза с парнишкой потрёмся!

– Слышь, кавалер, ты и завтра приезжай – по гри- бы пойдём, во-он к тому зароду!

– Ждём, не подведи! И мы не подведём!

– И напоим, и накормим, и в кроватку укладём!

– А у нас в Кашулане, ох и жар-ки-е бани!

Шишкин отмалчивался. После алейского randevу не шутилось. Смурным вернулся в Дорулей, заглянул в школу. Евдокия Ивановна оказалась на месте. Рас- сказал про Глушкиных.

– Да уж... – только и вымолвила директриса и су- рово посмотрела на Шишкина.

ВЕЧЕРНИЕ ОСАДЫ

Молодого учителя Шишкина обложили со всех сторон. Но он пока этого не знал. Кольцо стягивалось. А Шишкин... парил в облаках, потом спускался на сверкающую вершину Парнаса и, млея от счастья, гладил атласную кожу белоснежного крупа крылато- го коня Пегаса.

Зеленоглазый Ангел мой!

Случилось невозможное меж нами.

На моём небе ты взошла звездой,

Измучившей меня уже ночами.

В бессонный час или в неровном сне

Сжигаеть, но люблюсь я тобою.

И по утрам приходишь ты ко мне

Лазоревой счастливою зарею,

Которая согреет, оживит,

Не даст пропасть средь бардака мирского.

И призрачной надеждой окрылит.

И о любви моей расскажет снова.

Не надо к гороскопам припадать,
Чтобы узнать: забуду – не забуду...

Скорей всего, надеяться и ждать

Наивно и бессмысленно.

Но буду!

Всегда! Пока живу я на земле.

Ведь вечны звёзды.

Значит, надо мною

Звезда твоя взойдёт в вечерней мгле

И сменится лазоревой зарёю...

Шишкин истекал, сочился стихами, посвящённы- ми Анне Александровне Манько. Сколько веков фи- лософы, психологи, литераторы и прочие ломают ко- пья насчёт любви с первого взгляда! А чего ломать? Есть она, есть! В минувшее воскресенье Шишкин встретил в магазине незнакомку. И тут же втрескал- ся в неё окончательно и бесповоротно. Весь оставший- ся воскресный вечер и далеко за полночь лихорадоч-

но обдумывал, где и как навести осторожные справки о женщине своей мечты. Самый верный вариант – школьные поварихи баба Дуся и баба Женья. Они знают всё и вся. От их бдительного взора на селе ничего не укроется. Но... Ты им – ненавязчивый вопросик, а они – враз такие выводы сделают!.. К вечеру всё село будет знать об амурных устремлениях учителя Шишкина.

В понедельник Шишкин не мог ничего. Какая методика преподавания русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе?! О чём вы?! Уроки проходили на «автопилоте», но в таком ударе! Учитель Шишкин не раскрывал тему – он витийствовал! Притихшие от буйного литературного красноречия молодого учителя школяры, выходили на перемены ошарашенными и могли только потрясённо молвить: «Шишкин-Пушкин... Шишкин-Пушкин... Наш Шишкин – это всё...» Дома сомнамбулически тянули ручонки к картонным переплёткам «Школьной библиотеки», вчитываясь в строчки Грибоедова и Лермонтова, Пушкина и Фонвизина. Игры в «войнушку» и «дочки-матери» на время потеряли весь смысл!

Обеспокоенные мамки, доселе отлавливавшие своих чад и под угрозой порки заставлявшие их готовиться к урокам на завтра, предчувствовали недоброе. Поразительная усидчивость над учебниками по литературе вчерашних лоботрясов и, особенно, рано заневестившихся дочурок-старшекласниц пугала материнские сердца, заставляя капать в стакан с водой корвалоловые капли, валерианку и сосать валидол. Но Шишкин не знал этого.

Шишкин вообще витал неизвестно где. Литературно буйствуя на уроках, – с жаром разъясняя мальчишкам и девчонкам подоплёку взаимоотношений Чацкого и Софьи, подлости Молчалина и холодности Нины по отношению к Арбенину, истинный смысл сна Наташи Ростовской и роковой для Печорина страсти к княжне Мери, – он думал и грезил только об одном: увидеть, хоть издали Анну. «Вронский, мать твою!..» – жалобно матерился про себя учитель словесности, но это мало помогало.

В часы вечернего одиночества Шишкин потакал своему страдающему сердцу посредством цангового карандаша. Любовный сплин требовал лирических строк, как паровозная топка каменного угля. За несколько ночных монопоосиделок Шишкин-младший исчеркал нервными строчками больше половины общей тетради.

*Случилось Нечто вдруг такое
Необъяснимое
Со мной.
Или влечение роковое,
Или – как в омут головой.
Всё это столь необъяснимо,
Что даже слов-то нужных нет.
Опять проходите Вы мимо,
И глупо я смотрю вослед.
И завтра точно так же будет.
Окликнуть?*

*Только что сказать?
Пересеклись орбиты судеб,
Да только судьбы не связать.
Но к Вам неудержимо тянет!
Ищу то повод, то предлог...
Не знаю, что со мною станет
У перекрёстка двух дорог.
Не знаю,
Ничего не знаю.
Стою сегодня на краю...
Но, знаете, не проклинаю
Судьбу нескладную свою.
Что там судьба!
Да в ней ли дело?..
Как можно жить, её кляня,
Когда Вы снова посмотрели
С улыбкой тихой
На меня...*

«Мечты, мечты... Где ваша сладость?..» Шишкин моделировал несуществующие ситуации новой встречи с незнакомкой, бороздил по селу с настырностью пограничного сторожевика, но любовь в поле зрения не показывалась. И это наполняло душу поэта-педагога печалью-кручинушкой, бросало отчаявшийся разум в огнедышащую лаву хандры, пластало изнывающее страстью сердце тупым ножом неизвестности. «Где же ты, и где искать твои следы?..» А как это была кратковременная приезжая, уже и след которой простыл? Нет, такой трагедии Шишкин не допускал. Шестое чувство нашёптывало: она здесь. Здесь! Мгновения оптимизма и надежды свистели, как и положено мгновениям, – пулями у виска. А тоска давила часами. Не было аппетита, не хотелось писать план-конспекты, не спалось. В наиболее тоскливый из вечеров, в воскресенье, безутешно страдающий Шишкин решительно натянул куртку, намереваясь в очередной раз отпатрулировать сельские улицы. Он собрался самым беспардонным образом заглядывать в окна, под дурацкими предложениями ломиться в двери и тэ пэ.. Да, незванный гость хуже, чем званые, но терпеть уже не было никаких сил. Бог весть, во что бы всё это вылилось, но в последнюю минуту, в последнем волевым противодействии своему безумству Шишкин-младший уцепился за дверные косяки...

В понедельник же Шишкин разрешился от мук наибанальнейшим образом.

– Александр Сергеевич, сегодня по графику ваше дежурство в интернате, – напомнила о дополнительных обязанностях дорулейских педагогов замдиректора по воспитательной работе Валентина Семёновна Пляскина-вторая, «весёлый поросёнок», как определил для себя её облик и темперамент Шишкин. Пляскиной-второй Валентину Семёновну называли, чтобы не путать с «биологичкой» Верой Петровной. Чистые однофамилицы, никакого родства. По логике вещей, школьная иерархия такой нумерацией была вопиюще нарушена. Заместитель директора вторая, а рядовая учителька – первая? Но так уж устаканилось. Кто первым встал – того и тапки. Вера Петровна – из дору-

лейских и в школе учительствовать начала раньше Валентины Семёновны. В.С. – ссыльная. Или хуже того.

В своё время, Пляскина-вторая была третьей. Что, читатель, вы окончательно сбиты с толку этими играми в числа? Напрасно. Жизненные реалии таковы, что и третий секретарь райкома партии может ухнуть в пучину страсти. Вот Валентина Семёновна и ухнула. Парней хватало холостых, но В.С. запала на женатого. И запала крепко. Ответить взаимностью третьему секретарю райкома да к тому же, женщине милостивой и одинокой, – ну какой мужчина из номенклатурных рядов устоит? А что делать законной супруге коварного изменщика? Правильно! Следовать чёткому жизненному правилу эпохи развитого социализма. Чем удерживают сильный пол подле себя законные супруги разных стран и народов? Молва гласит: еврейка – криком, полячка – шиком, француженка – грацией, а русская... – парторганизацией. И обманутая супруга обратилась «по инстанции», а параллельно применила еврейский опыт, публично и неоднократно, усилив его амазонским: с рукоприкладством и жёстким выдиранием пергидрольных прядей со светлой головы третьего секретаря РК. Короче, разобрали в итоге два персональных дела на бюро обкома и... Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону. Другой стороной для В.С. оказалась до-рулейская средняя школа, благо в наличии имелся диплом пединститута.

– Помню, помню, Валентина Семёновна! После уроков – строго на боевом посту.

– Не после уроков, а ровно в девятнадцать ноль-ноль! И повнимательнее, порешительнее там. Местное пацанье повадилось вечерами девчонок в интернате приступом брать. Понаедут на своих мотоциклах и давай там карусель! Кавалеры! А девицы наши – тоже непротивленчество демонстрируют! С мальчиками, видите ли, покатаются! Неизвестно до чего докатаются! Ну, вы понимаете... Да, и, конечно, безопасность. Свернут на этих гонках себе шею – а что мы потом родителям скажем? – Валентина Семёновна озабоченно поправила изящные очки в золочёной оправе. – Вчера, Александр Сергеевич, пошла проконтролировать обстановку в интернате. По графику дежурил наш трудовик Сергей Васильевич. И что же вижу? Время отхода детей ко сну давно прошло, а никто не спит! Девочки жеманно облепили крыльцо, кавалеры местные газуют перед крыльцом на своих драндулетах, а Сергей Васильевич... – В.С. возмущённо округлила пухлые губы. – А Сергей Васильевич в моторе одного из этих мотоциклетов копаётся!

Голос Пляскиной-второй от нахлынувших гневных эмоций на мгновение прервался. Переведя дух, она продолжила.

– «Что это такое?» – спрашиваю. И, что вы думаете, он мне отвечает? Да, вот, де, забарахлил что-то аппарат у пацана, я и посмотрел. Это как понимать? – В.С. пытливо вперила глаза в Шишкина-младшего.

– Я вас понял, Валентина Семёновна! – проникновенным тоном ответил Шишкин. – Не сомневайтесь, всё будет по распорядку и под контролем.

– Надеюсь! – со зловещинкой в голосе кивнула замдиректора и скрылась в своём кабинете.

В семь часов вечера Шишкин прибыл на «боевой пост». Каково же было его потрясение, когда он услышал:

– Добрый вечер!

Ему лучезарно улыбалась Мечта собственной небесной персоной!

– Добрый вечер... Не ожидал вас... – подавился словами безутешный вздыхатель.

– В первый раз дежурите? – столбняк Шишкина прекрасную незнакомку забавлял. – А я здесь – в день. Слежу, как к урокам готовятся, и вообще... Давайте познакомимся. – Мечта протянула восхитительную ладошку. – Манько, Анна Александровна, воспитатель.

– Шишкин, Александр...

– Я знаю, – кивнула Анна. – Завуч меня предупредила. Ну, ладно, осваивайтесь, а я пойду. Супруг сегодня где-то на кусках перебивается, дома не обедал, примчится голодный. Пойду, рагу из «синеньких» ему разогрею.

– Из «синеньких»?

Анна засмеялась. О, этот зомбирующий смех!..

– «Синенькими» у нас называют баклажаны. Я же – хохлуша одесская. Ладно, всё, заболталась я тут с вами. Пока, Саша!

– Пока... – выдавил Шишкин. На лице его было написано такое отчаяние, что Анна погрозила ему пальцем и снова рассмеялась.

«Дурак дураком! – ругал себя Шишкин, глядя ей вслед. – Ну чего ступорю, как прыщавый подросток? Да, красивая! Офигительно! И что теперь? Замужем... Но назвала Сашей! Может быть, всё-таки я ей небезразличен?..»

– Дурак ты, Саша! И голову тебе лечить надо! – вернулся здравый смысл.

– Вы что-то сказали, Александр Сергеевич? Добрый вечер! – из комнаты-столовой выглянула баба Дуся. – Так сегодня в ночь вы дежурите?!

На лице поварахи появилась такая счастливая улыбка, словно тетю Дусю на всю страну по радио и телевидению поздравил с именинами сам Леонид Ильич Брежнев или, на худой конец, Николай Викторович Подгорный.

– Я, баба Дуся, я.

– Это хорошо! – ещё больше обрадовалась баба Дуся и сразу радостно заторопилась. – Деток-то я, Александр Сергеевич ужином покормила, девочки посуду домывают. Побегу. Столько ещё дел дома! А вы-то поужинали?

– Да, всё нормально, не беспокойтесь.

– И хорошо! Хорошо. Побегу?

– Конечно, конечно. – Шишкину-младшему даже неудобно стало – чего она у него как будто отпрашивается? – Всего доброго.

– И вам, и вам! – Баба Дуся шустро подалась прочь.

Шишкин недоуменно пожал плечами и пошёл изучать внутреннее устройство интерната.

...Вечер протекал спокойно. Пока никакими мотоциклистами не пахло. Шишкин сидел в «Комнате вос-

питателей». По крайней мере, на двери висела такая табличка. Дверь распахнута в коридор – всё слышно, почти всё видно, входные двери под контролем. Шишкин сидел и читал «Современный французский детектив», который купил в местном магазине. Вот тебе и «сельпо»! В городе из-под прилавка не достать, а тут – пылится на полке. Чудеса...

К деревенским чудесам он старался привыкнуть, но пока это получалось с трудом. Вот ту же сметану взять. Оказывается, в ней не то, что ложка стоит, – ножом резать можно! Масло да масло. Но это так, мелочи. А вот почтение перед учителем – это да! Пожилой мужик поддатый навстречу идёт, а перед Шишкиным – раз! – кепочку приподнял, поздоровался... Никто из сельчан на «ты» не назвал, только «вы» да «Александр Сергеевич». Хотя, откуда он знает, что о нём за его спиной говорят, как его косточки моют. Вообще-то, интересно было бы послушать...

– Александр Сергеевич, извините, можно спросить? – На пороге – одна из десятиклассниц. Шишкин, хоть убей, ни имени, ни фамилии вспомнить не может и не пытается.

– Можно, конечно. Что интересует?

– А трудно в институте учиться?

– Если учиться – то не трудно, а если другим голову забивать – трудно.

– А чем другим? – из-за дверного косяка высунулась ещё одна лукавая физиономия.

– А вот тем, чем вы сейчас занимаетесь, вместо того, чтобы готовиться к урокам на завтра.

– Мы уже всё выучили... – обиженно протянули девицы и побрели в свою комнату.

Пококетничать с молодым учителем брались и другие обитательницы интерната. Парни, их в интернате было пятеро, и жили они в одной комнате, не показывались, смотрели по телевизору футбол. А девушкам у телевизора не сиделось. «Видимо, к футболу они равнодушны, – подумал Шишкин. – А на вторую программу, как в городе, не переключишь. Ну, почитали бы чего, если к урокам готовы...» От таких умозаключений самому смешно стало. «В следующий раз, – подумал Шишкин, – надо что-то такое придумать, чем-то ребятню занять. Может, им про современную рок-музыку рассказать, записи покрутить?.. Или, в сам-деле, про институт. Как поступать, как учёба и жизнь студенческая протекают, про студенческие приколы можно, про КВН, про фестиваль гитарной песни...»

– Александр Сергеевич! – В дверном проёме появилась новая девичья фигурка. Но не ученица – постарше будет. «Господи, а это кого принесла нелёгкая? Лицо знакомое... Ба, да это же Леночка, продавщица из сельпо...»

Леночка, когда Шишкин появлялся в магазине, была сама предупредительность, не то что её сменщица, баба громогласная и нахальная, хамовитая и совершенно равнодушная к покупательскому интересу. Не заходи никто в магазин, так, кажется, только тогда довольна и будет. Несмотря на то, что ей, по самым оптимистическим оценкам, катил уже пятый десяток, все её кликали Любкой.

– Любка, свешай мне полкило риса.

– Ты ещё двести грамм потребуй! – швыряла Любка на прилавок килограммовый пакет. – Бери кило, чево я, зазря фасовала?!

– Любка, белую завезли?

– Нету белой! Тебе, старый, всё равно, чем шары заливать – бери, вон, ром кубинский. Шибаёт почище водяры!

– Ну, может, пошаришь под прилавком...

– Ты чё тут кобенишься? Может, тебе в штанах пошарить? Да что там, кроме сморщенного стручка! Берёшь ром или нет? Нет? Вали отсюда, пьянь херова!

А Леночка – нет. Быстро подаст, улыбнётся, извиняюще разведёт руками, если в ассортименте желаемое отсутствует. Хотя, кто его знает, что будет, когда Леночка доживёт до Любкиных лет (это ей ещё одну свою жизнь целиком прожить надо!). Да ещё, не дай бог, сподобится, как Любка, в одиночку растить парня. Мишка Самылин учился в классе Шишкина, только три дня назад на уроках появился. До этого работал на кошаре всё лето. Знаний у парня маловато, тугодум, так и ползёт из класса в класс на троечках. И то, наверное, потому, что никто не хочет ссориться с мамой Любкой. Устроит Варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни в одном флаконе. А в ПТУ после восьмого сына не отпустила. Неча, мол, хреню маяться, время терять. Десятилетку закончит, и – в армию. Вот там пусть и учат. На прапорщика. Само то для Мишки. Всё расписала Любка для сына на пятилетку вперёд.

Но что же привело в школьный интернат Леночку?

– Здравствуйте, – Шишкин поднялся с кушетки, положив раскрытую книгу страницами вниз.

– Эта та, что вы у нас купили? – посмотрела на обложку Леночка. – Интересная?

– Да, неплохо.

– Детективы любите?

– Люблю.

– А я про любовь люблю читать. Когда такие чувства – хоть в огонь, хоть в воду! – Леночка даже чуть прикрыла глаза.

Шишкин украдкой глянул на часы. Половина десятого! В сам-деле, самое время для опроса читательских предпочтений. Но что же привело сюда Леночку?

– Ой, – тут сказала она и достала из-за спины холщёвую сумму с грубо намалёванным рисунком – трафаретно-кустарной попыткой портрета то ли Аллы Пугачёвой, то ли Софии Ротару. – Мы тут с мамой вам пирожков напекли с черёмухой и капустой.

Леночка шагнула к столу, зашуршала извлекаемым газетным свёртком. Дурманящий аромат свежеспечённых пирожков мгновенно заполнил тесное помещенье комнаты воспитателей.

– Бог ты мой, – отступил к кушетке Шишкин. – Ну, прямо – сон чудесный! М-м-м... Вас ведь Леной зовут? Вы в магазине работаете?

– Это все так привыкли, а вообще-то я – Алёна. А вы – Саша? – Гостья опустилась на стул и явно не спешила распрощаться.

Шишкин тоже присел на кушетку. Ситуация умиляла.

– Так, говорите, с мамой напекли? А кто же наша мама? – Спросил, как у пятилетней девчушки в детском саду, заведомо угадав ответ.

– Калашниковы мы, а мама в школе поварит.

– Баба Дуся?

Алёна-Леночка кивнула и покраснела. И сразу стала похожа на помолодевшую бабу Дусю, раскрасневшуюся у плиты. Такие же ямочки на щеках, щёчки-пышечки. Приятная двадцатипятилетняя или около того девушка средней упитанности. Коленки плотно сжаты и прикрыты ладошками. Вычурные, но дешёвенькие серёжки в розовых ушках. Неумелый, густоватый макияж. «Наверное, неплохая хозяйка и человек неплохой, – подумал Шишкин-младший, – но я-то тут причём?.. То-то баба Дуся стреканула домой! Ай да баба Дуся! То кастрюля с котлетами, а теперь и красна девица с пирогами!..»

Он наклонился к столу и вытащил из газетного свёртка тёплый пирожок. Надкусил – с черёмухой!

– Вкусно!

Алёна-Леночка зарделась маковым цветом.

– Это моя начинка. У мамы другой рецепт, простой, деревенский. Черёмуха да сахар. А я черёмуху с коровьим маслом завариваю, а потом туда мёду добавляю.

– Да вы кондитер прирождённый! – восхитился Шишкин. – А что бы вам в кулинарном техникуме не поучиться?

– Я два раза поступала и не поступила... – У госты задрожал подбородок. – Сочинение на двойку написала, а второй раз – биологию завалила. И ведь знала, а растерялась. Там такая жаба сидела – и слушать не хочет. Поезжайте, говорит, девушка, на свою деревню – там и так рук не хватает.

Алёна-Леночка шумно втянула в себя воздух, достала из кармашка жакета маленький кружевной платочек и на мгновение прижала его к носу.

– Но это дело поправимое, – бодро сказал Шишкин. – Получше подготовиться, настроиться и не паниковать. Это же не вопрос жизни и смерти. – Он встрепенулся и хлопнул себя по бедру. – Да как же я забыл! В городе же есть специальное профтехучилище, на базе одного из ресторанов! Там тоже готовят кондитеров. И, кстати, выпускников этого училища без экзаменов принимают в техникум – для дальнейшей специализации по избранной профессии...

– Да она не учиться хочет, а замуж! – громко раздалось от дверей, перед которыми в коридоре сгущались стайкой девчонки-интернатчицы.

– Она вас охмурять пришла! – смело заявила чернобровая, крепко сбитая десятиклассница, насмешливо разглядывая гостью.

– Вот ведь, ни стыда ни совести! – переплетя руки на груди сказала ещё одна. Оля Сидорова из Кашулана – вспомнил Шишкин. Она у него, в девятом.

– Думает, костюм модный напялила, так и всё у нас можно! – на десерт бухнул чей-то ехиднёвский голосок.

Десерт Алёна-Леночка перенести не смогла. Она схватила свою холщёвую сумку с Пугачёвой-Ротару и пулей вылетела из комнаты, сквозь тут же расступившихся девчонок, на улицу.

– Вы что себе позволяете?! – заорал Шишкин, почувствовав себя то ли застигнутым в чужой постели бабником, то ли заурядным вором курей, застуканным в чужой стайке. – Да как вам не стыдно!

Девчонки с визгом кинулись по комнатам, под громкий хохот пацанов, высунувшихся из своей комнаты, где орал телевизор.

– А вы чего? – напустился уже на них Шишкин-младший. – Детское время закончилось. Телевизор выключаем, готовимся к отбою.

– Эт точно, детское время закончилось, наступило время взрослых! – прогоготал самый старший из пацанов, дважды второгодник Кутяев, по которому уже нетерпеливо плакал военкомат. Десятиклассник Кутяев, как и Оля Сидорова, родом был из Кашулана, жил там с бабушкой. Отец его погиб на лесозаготовках – деревом придавило, а мать вскоре после трагедии куда-то укатила, бросив четырнадцатилетнего пацана на попечении бывшей свекрови.

Шишкин на Кутяева никак не среагировал, вернулся в комнату, уставился глазами в книгу. Конечно, не читалось. Противная дрожь пробирала до костей. Ну удружила баба Дуся! Завтра в школе разговоров будет!..

Через полчаса, успокоившись, Шишкин попытался взглянуть на происшедший инцидент с юмором. Получалось плохо. Может быть, Алёна-Леночка, в сам-деле, девушка неплохая. Но и до встречи с Анной, не раз бывая в магазине, он при виде приветливой Леночки, совершенно ничего не испытывал. Работает себе молодая и симпатичная, ни и пусть работает. А тут прямо осада какая-то... Пирожки-котлеты, мой желанный, где ты?.. Выйди, милый мой дружок, дам тебе я пирожок...

Молодой и глупый был в ту пору Шишкин. Разве ж это осада! Это была только присказка, разведрейд, так сказать, одиночного лазутчика.

«Гадом буду, – со злой весёлостью подумал Шишкин, – у второй поварихи, бабы Жени, тоже дочурка на выданье. Обкладывают, как волка! Директриса, сваты бабы-поварихи... Не кручинься, князь Гвидон, а пошли их на... рожон!»

Шишкин посмотрел на часы. Ребятам пора спать. Он отправился по комнатам. Никто, естественно, в кроватках не посапывал. Парни продолжали пялиться в передергивающийся косою мутной рябью экран телевизора, девчонки, правда, лежали в постельках, но что-то бурно обсуждали, при виде учителя, противненько захихикали. Шишкин, как ему показалось, по-взрослому внушительно пожелал всем спокойной ночи и вышел на крыльцо, под высокое чёрное небо с огромными, близкими звёздами. Где-то вдалеке гавкнула собака, но так лениво, что никто из товарок ей не откликнулся. Было довольно свежо. Сентябрь уверенно подкатывал к октябрю.

Снизу, из южной части села, сначала тонко по-комариному, а потом с более и более нарастающим треском послышался рокот мотоциклетных моторов. Вскоре в темноте заметались сполохи фар, рокот нарастал, и вот на улице показались два электрических глаза.

– Тра-та-та-та-та! – к крыльцу подкатили две советские «Явы» – самые распространённые на селе мотоциклики «Минск». На каждом громоздилось по паре внушительных фигур. «Начинается концерт... – неприятно заныло под ложечкой у Шишкина-младшего. – Думал, пронесёт. Не пронесло...»

– А что так рано, молодые люди? – громко спросил Шишкин, стараясь перекрыть тархтенье мотоциклов. Внутри у него разгоралось какое-то отчаянное раздражение вперемежку с нарастающим страхом.

Парни, заглушив движки, неловко слезли с мотоциклов, ступили на освещённые яркой лампой над крыльцом ступеньки. Пахнуло дешёвым спиртным.

– Дак, а чо, спите уже, ли чо ли?

– Не «ли чо ли», а поздороваться надо! – зло отрезал Шишкин, встав в дверях. Он пытался себя убедить, что сейчас и здесь сработает деревенское чудо: почтение перед учителем.

– Ну, наше вам, здравствуйте! – осклабился один из парней. На свету и сомневаться не приходилось: сверстников интернатских девчонок среди подъехавших не наблюдалось. Здоровые, отслужившие в армии парни.

– Здравствуй, хотя давно пора сказать «Спокойной ночи!» Что привело вас сюда, родные мои? – спросил Шишкин, убедившись, что чуда не последует. Это обозлило его до состояния, близкого тому, которое, наверное, с отчаянием подумалось Шишкину, испытывает крыса, когда её загоняют в угол.

– Да с девчонками поболтать заехали, а чё нельзя?

– В том-то и дело, дорогой ты мой, что нельзя, – сказал Шишкин и, шагнув вперёд, облокотился на перила. Прямо стоять он не мог, коленки стали какими-то слабыми.

– А то чё будет? – подал голос третий из парней.

– Ну, а сам-то не понимаешь? – стараясь придать удивление голосу, спросил Шишкин, ощущая собственное сердце где-то в левой пятке.

– Ну, может, я такой тупой... Чё с деревенского взять! – хохотнул парень.

– С деревенского можно взять то же, что и с городского.

– Нока, нока?..

– А что «нока», – пожал плечами Шишкин, преодолевая из последних сил охватившую его внутри трясучку. – Свобода – она и в Африке свобода.

– А при чем тут свобода? – осведомился уже четвёртый.

– Братцы, да вы что, в сам-деле? Поднимите руки, как говорят в школе, кому исполнилось восемнадцать лет? Хотя можете и не поднимать – и так видно. Давно «дембельнулись»? – «А вот это уже жалкое трусливое заигрывание...» – мелькнуло в голове.

– Так вот и «дембельнулись», – хлопнул по плечам рядом стоящих приятелей самый говорливый.

– А сколько лет девчонкам, с которыми вы поболтать прикатили среди ночи? – Загнанная в угол крыса ещё надеялась выйти из последнего боя.

– И чё?

Еле удержался Шишкин-младший, чтобы без промедления не выдать в ответ что конкретно «говорливому» следует перекинуть через плечо, – хорошо, инстинкт самосохранения сработал. Видимо, в последний раз – больше не пригодится. Неимоверных усилий стоило проговорить спокойно, с расстановкой:

– Девчонки все несовершеннолетние. Это понятно, надеюсь? Что бывает взрослым парням, когда они пристают к малолеткам?

– Пугаете, ли чо ли?

– Да чем же я вас напугаю, милые вы мои? Я один, а вас четверо. Конечно, в свисток могу свистнуть. Напугаетесь? – Вот это выдал искренне, даже чуть полгчал. На мгновение. И снова внутри затрясло: кто же ударит первым? В лицо, под «дых»?.. Собьют с ног, запинают...

Парни заржали.

– Лёха, ты это... Уезжайте, спать охота. Да и не надо вам здесь... – за спиной Шишкина-младшего выросла фигура второгодника Кутяева.

– Здорово, Кутяй! – расплылся в улыбке тот, кого называли «Лёхой». – А ты чо тут делаешь?

– Десятилетку домучиваю.

– А чё там Нинка?

– А чё Нинка... На ферме пашет.

– Замуж-то не выскочила?

– Да нет...

– Хлопцы, на часы посмотрите, – с позевотой лениво проговорил Шишкин. – Кутяев, ты чего поднялся? Иди спи, завтра рано подниму. А со своими знакомыми завтра поговоришь – день длинный. Давайте, ребята, всё на завтра перенесём. – Это он уже незванным гостям адресовал. «Вот, она, кульминация, – подумал кто-то в голове у Шишкина, но не он, это точно, потому как он думать уже не мог – мысленно верещал загнанным зайцем. – Момент истины! Если сейчас не наступит перелом...»

– Ладно, поехали, чё тут делать... – напряжённым голосом сказал самый немногословный из парней, который единственный раз-то и рот разинул, про свободу поинтересовавшись. «А ты, дружок, видимо, уже на собственной шкуре прочувствовал, какое это сладкое слово «свобода», – подумал теперь уже сам Шишкин, ощущая невероятное облегчение. – Однако, Александр Сергеич, расслабляться рановато. Всякое бывает...» Но парни поплелись к мотоциклам – «немногословный» обладал в четвёрке авторитетом.

– Пока, Кутяй! Завтра Нинку навещу! – проорал «Лёха» через долгожданый треск заработавших моторов, и оба «Минска» скрылись в темноте, оставив у крыльца расплзающееся сизое облако отработанных газов.

Шишкин повернулся к второгоднику Кутяеву и негромко сказал:

– Спасибо за поддержку.

Кутяев ступешался, неловко затоптался на месте, потом повернулся и бросил в коридор:

– Чо застыли? Кина не будет – кинщик спился! Ай-да дрыхнуть!

Оказалось, что за дверь в коридоре таилась и остатальная четвёрка пацанов. Шишкин нахмурил бро-

ви, но внутри у него поднялась такая тёплая волна, что защипало в носу.

– Всё, хлопцы, пора и честь знать.

Он лягнул внутренней задвижкой на входных дверях и вернулся в каморку для воспитателей, испытывая самые противоречивые чувства. Благополучный, целиком и полностью благодаря Кутяеву, финал ночного randevу с поддатыми «дембелями», это, безусловно, спасение небесное. Могли и рёбра с зубами пересчитать. Настучали бы, как цуцику, и – ищи-свищи этих «дембелей». Шишкин зябко передёрнул плечами. Он отчётливо увидел себя упакованным в толстый слой гипса. Палата интенсивной терапии, пыхтящий, как сотня локомотивов, Шишкин-старший в белом халате посреди такого же белого коридора, маман Шишкина с провалившимися глазами у постели умирающего сына... Бляха-муха, что не пригрезится! Собственно, и не смешно. Осадок горчит: трое здоровенных парней – покорными марионетками за четвёртым. А он непрост, криминален. Быстро сообразил, что пакость безнаказанной не останется, коли «Лёха» засветился. А пошакалить в ночи хотелось, очень хотелось. Мда-с... А Кутяев – правильный пацан. Вот тебе и второгодник великовозрастный. Жизни не по учебнику выучился...

Шишкин выглянул в коридор. Из комнат не доносило ни звука. Потушив свет, прилёг на кушетку. Но сна не было. Уши чутко ловили малейший шорох за окном, неприятно ныло на душе, – испугался, ещё как испугался! Да... Как хорошо, что нет телепатии, – прочитай сейчас Анна его трусливые внутренние пiski... Вот тебе, безутешный влюблённый, и ответ на вопрос, почему никогда и ни хрена у тебя не могло быть и не будет с Анной Александровной Манько, или какая там у неё была девичья фамилия. Разглядела бы очень скоро Анечка, насколько вы, Сашенька Шишкин, мелкая и ничтожная личность. Да и не личность – человечешко никчёмный...

И в этих пароксизмах уничижительности Шишкин наконец-то забылся нервным и чутким сном. Ему снилась Анна, заглядывающая в окно воспитательской комнаты и манящая его сеткой-авоськой, в которой зазывно белела эмалированная кастрюля, полнёхонькая рагу из «синеньких». Снилась Одесса, в ко-

торой он, Шишкин, никогда не был, но которую представлял по приключенческим фильмам Одесской киностудии и киножурналу «Новости дня» – его чаще «Иностранной кинохроники» и тем более сатирического «Фитиля» крутили перед фильмами в клубе. Снились местные парни на мотоциклетах, окружающие интернат по всем правилам военного искусства под предводительством бабдусиной Алёны-Леночки, которая раскалывала ночь громовым голосом диктора Левитана: «Так не доставайся же ты никому!» Снилась ещё какая-то смутная женская фигура без лица, делающая сон особенно нервным. В общем, ночной отдых на первом дежурстве не задался.

Утром Шишкин вскопился рано, помятый и издёрганный. С ужасом представил, что таким его и застанет Анна Александровна, Анечка, Анюта... Но через полтора часа, следом за суровой – а как же иначе после вчерашнего! – бабой Дусей, вальяжно появилась математичка Людмила Алексеевна.

– Уж извините, Александр Сергеевич, что припозднилась-ась! – нараспев произнесла она. – С утра по хозяйству что-то столько всего навалилось. Но у вас же первого урока сегодня нет? А ко второму успеете...

– А где Анна Александровна? – брякнул в огромном удивлении и разочаровании Шишкин.

– Так у неё сегодня отгул, дочку к зубному в райцентр повезла... – Людмила Алексеевна, выдав оную информацию «на автомате», тут же встрепенулась и пытливо оглядела молодого учителя с ног до макушки.

– А что случилось?

– Да нет, я так...

– Па-а-а-нятно...

И по новому взгляду математички – от макушки до ног – Шишкин понял: началась в её голове серьёзная вычислительная деятельность, которая уже к вечеру наступившего дня оформится интереснейшей информацией для женской части родного педколлектива, а там и далее, со всеми остановками, полетит по селу, обрастая сногшибательными подробностями. И ещё неизвестно, как ему, Шишкину А.С., аукнется. Но с мужем Анны Александровны молодому педагогу почему-то знакомиться не хотелось.



ЛАРИСКА-КРЫСКА



Зинаида ЛОБАЧЁВА,

ветеран педагогического труда на селе, коренная забайкалка. Уже много лет живёт в посёлке станции Хушенга Забайкальской железной дороги. Литературным творчеством увлекается последние семь лет и – безуспешно: её рассказы не раз печатались на страницах литературно-художественного журнала «Слово Забайкалья», она – лауреат литературного конкурса «Новая литература Забайкалья», проведённого редакцией журнала совместно с Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина и филологическим факультетом Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г.Чернышевского. Язык автора прост и незамысловат, но особенностью сюжетов рассказов является то, что они основаны на реальных событиях.

Кирилл с трудом открыл глаза. Голова страшно кружилась. Потолок расплывался, исчезая в чёрную дыру слева. Он снова напрягал зрение, пытаясь понять, где находится. Бросил взгляд в сторону. Моментаально возникшая боль стрелой пронзила виски и тупо растеклась по лбу. Кирилл осторожно ощупал лоб. Забинтован. На левом глазу тоже марлевая повязка.

– Очнулся. Тише... тише... не трогай! – услышал молодой женский голос слева.

Повернул голову, перед ним стояла приятной наружности девушка.

– Где я?

– В Москве. В военном госпитале имени Бурденко.

– Что у меня с глазом?

– Не знаю. Вы ранены, вам лучше поговорить с врачом. Я сейчас позову, – ответила девушка и быстро вышла.

– Ранен.... – Кирилл сразу вспомнил, как они втроём отправились патрулировать... Посёлок Янды.. Было всё спокойно, они молча шли по узкой дороге. Вдруг, в придорожной пыли, что-то блеснуло.

Кирилл остановился, осторожно ткнул ногой. Часы. Он наклонился, чтобы их поднять. И тут же – сокрушительный удар в голову. Больше Кирилл ничего не помнил.

Вошёл врач, мужчина средних лет, с приятным, добродушным лицом.

– Ну, солдат, как у нас дела?

– Голова трещит, глаза больно поворачивать.

– Понятно. А ноги чувствуешь?

– А что ноги? – испугался Кирилл и машинально попытался их поджать. Они оказались такими тяжёлыми, словно к ним были при-

вязаны стопудовые гири. Потревоженные ноги резко заныли, загорели жарким огнём от колен до самых кончиков пальцев.

– М...м...м... – простонал Кирилл.

Врач откинул покрывало с ног парня. Осторожно ощупал колени, потом взял большую медицинскую иглу, стал легонько тыкать в пальцы ног.

– Чувствуешь боль?

– Да.

– А вот тут?

– Да.

– Замечательно, – улыбнулся врач, возвращая покрывало на место. – Легко отделался солдат. На mine подорваться и живым остаться. Осколочные ранения в обе ноги, кости перебиты. Не беда, мы их восстановим. Не таких поднимали!

– А с глазом что? – спросил Кирилл.

– А вот глаз, брат, мы не смогли спасти...

На голову Кирилла словно ушат кипятка вылили. Закричал, как от внезапной боли, а потом съёжился, до крови закусив нижнюю губу.

– Ну, ну, парень, без фокусов! Ты не красная девка, ты – солдат! Весь считай, цел, а без глаза сто лет прожить можно. Кутузов вон – фельдмаршалом стал, всеми войсками командовал.

Уходя, приказал медсестре: «В общую палату его».

Кирилл, чтобы не разрыдаться, всё кусал, кусал уже припухшую губу. Кровь тоненькой струйкой скатывалась на подбородок.

– Что ты так разволновался? Боли тебе мало? Оставь губу в покое, – потребовала медсестра, аккуратно вытирая ватным тампоном кровь. – У нас сапёр лежит.

Кисти рук оторвало, повредило оба глаза. Жив остался благодаря защитному костюму. Так он – радехонький, что живой! А ты?.. Слышал, что тебе врач сказал: весь цел. А глаз тебе стеклянный поставят, сам не отличишь от настоящего. Тут работают специалисты высшего класса. Изю всех сил воюют за каждого солдата, делают всё возможное и невозможное. Бывало, привезут полутруп, едва признаки жизни подаёт, а через месяц, другой, глядишь – улыбается, поехал домой!

Слова девушки успокоили, даже стыдновато перед ней за свою слабость стало.

А через час Кирилл уже находился в общей палате. Тут же к нему подошёл парень с загипсованной рукой, подвешенной на бинте через шею.

– Как зовут?

– Кирилл.

– Меня – Борис. Где тебя так окрестили?

– Янды. Ачхой-Мартановский район.

– Так это тебя, значит, вчера однополчанин разыскивал, к нам в палату заходил на костылях.

– Васька?!

– Не знаю. Он не представился. Сказал, ещё зайдёт.

– А ты, Борис, как сюда попал?

– Да по своей дури. Я в конном полку служу. Под Москвой. Мы в кино кавалерию изображаем, ну и другое там, при дипломатических церемониях... Стали отрабатывать навыки владения шашкой и джигитовку. Ну, я и... гарцанул! Результат: два сломанных ребра, перелом ключицы.

В дверях палаты появилась белобрысая голова.

– Васька! Я здесь! – радостно воскликнул Кирилл.

– Кирюха! – Сослуживец широко распахнул двери, чтобы пройти на костылях. Долго и неловко усаживался на край кровати. Потом сообщил:

– А я от ребят из нашей роты письмо получил. Пишут, как вы на растяжку наткнулись. Ну, ты, Кирюха, в рубашке родился. Вовку и Лёшку... на смерть... Пацаны пишут, жутко смотреть было, а тебя в сторону отбросило, на обочину дороги. Лежал, пишут, пылью припорошенный. Лицо в крови, ноги друг к другу носками повёрнуты. Решили, что ты тоже мёртвый. За ноги за руки потащили, а ты застонал. Они засуетились, щиты под тебя и – в медсанбат. А там сразу вызвали «Скальпель».

– Что за «Скальпель»? – спросил Борис

– Сразу видно, не был в горячих точках, – Василий полуобернулся к Борису. – Это летающая операционная лаборатория для экстренной эвакуации раненых из очагов военных действий.

– Понятно, – улыбнулся Борис. – Отчеканил, как перед комбатом.

– Так вот, – продолжил Василий, – я как узнал, что ты здесь, давай разыскивать тебя. День пробегал, не нашёл. Тут, представляешь, полторы тысячи лежит! Сорок отделений! Как найти? Решил подойти к своему врачу. Он мне моментом нашёл. Оказывается, ты в нашем отделении, в реанимации лежишь. Я туда заглянул, ты как дохленький. А сегодня заглянул –

тебя нет. Сказали, ты в общей палате. Ну, как ты, Кирюха?

– Да, х...хреново. Глаз левый выбило.

– А ноги?

– Загипсованы. Врач сказал, что замечательно.

– Значит, целы ноги! – обрадовался Василий. – Я же говорю, – в рубашке родился.

Василий огляделся, заметил аккуратно заправленную кровать и довольный улыбнулся.

– Свободное местечко! Я, наверно, переберусь сюда. Потопаю, разрешения у лечащего врача спрощу. А то быстро кого-нибудь положат.

Он поднялся и резво заковылял на костылях из палаты.

– Я понял, что вы даже с одной роты. А с ним что случилось? – спросил Борис.

– При налёте гранатой подорвали. Ранен был в живот и ногу.

– Лаконичные вы. Всё у вас чётко, просто. А не страшно воевать?

– Страшно. Кровь и смерть – всегда страшно. Но, как говорит наш комбат, мужество – это искусство бояться, не подавая виду.

Борис задумался, отложив в сторону книгу.

Вскоре вернулся Василий, держа в руках целлофановый пакет. Сел на свободную кровать, поставил возле тумбочки костыли.

– Ну вот, я теперь тут на законном основании.

Вынул из пакета бритвенный прибор, туалетные принадлежности и два письма.

– Кирюха, тут тебе корреспонденция, ребята переслали.

– Давай сюда, – рванулся, было, Кирилл, приподнимаясь, но резкая боль снова пронзила виски. Он закрыл единственный глаз, затих.

– Тебе, может, прочитать? – тихо спросил Василий.

– Нет, я сам, дай сюда.

Одно письмо было от матери, другое от Любавы. Так Кирилл называл свою любимую девушку. С Любой они одноклассники, жили по соседству, кажется, что всегда дружили.

Настоящая любовь вспыхнула в десятом классе. Когда они вдруг поняли, что не могут друг без друга. Всё свободное время проводили вместе. Казалось, знали друг о друге всё. Или почти всё. Безграничное доверие соединяло два любящих сердца. Любава проводила его в армию. Ждала. Регулярно писала письма. Её письмо Кирилл вскрыл первым. Блаженствуя, представил свою Любаву, мысленно разговаривая с ней: «Какое счастье, что ты есть у меня...» И – ни тени сомнения, что Любава ответит ему этими же словами. «Говорила, что чувствует меня на расстоянии. Наверное, чувствует, как мне тяжело, волнуется...»

– Вась, а когда письмо пришло?

– Вчера. Я и начал сразу бегать, тебя искать.

– А число сегодня какое?

– Семнадцатое.

– Патрулировать мы пошли десятого января. Ёлки-палки! Это, выходит, я неделю без сознания был? Надо сегодня же ей ответить. А почта далеко?

– На первом этаже почтовый ящик висит. Пиши – отнесу, – ответил Василий.

Быстро прочитав письмо от матери, Кирилл попросил: «Вась, напиши письмо Любаве, я голову от подушки оторвать не могу».

– Ну, конечно, Васька! Ты знаешь, как я пишу? – недовольно пробурчал друг, доставая блокнот и ручку. – Ладно, диктуй.

– Начало ты знаешь, потом напиши, что в госпитале в Москве лежу. Ноги перебиты, левый глаз выбило, поэтому сам пока писать не могу. Немного позже, как оклемаюсь, сам напишу.

– Чо, так и писать? – усомнился Василий.

– Так и пиши. У нас с ней уговор: всегда говорить друг другу правду, какая бы она не была.

– А матери?

– Нет! Маме – ни гу-гу. Служу, всё в порядке.

В комнате воцарилась тишина. Василий, словно первоклассник, старательно водил ручкой.

Через неделю Кириллу стало лучше. Голову перестало ломить, прошло головокружение. Он уже легко садился на кровати, свешивая загипсованные ноги. Врач приказал выдать ему коляску. Кирилл быстро освоил новое средство передвижения, часами раскатывая по коридору отделения. Вечером в холле подолгу смотрел телевизор. Настроение было сносное, омрачало только одно: долго не было ответа от Любавы, хотя он ей написал уже второе письмо. Наконец, Василий принёс долгожданную весточку. Кирилл в это время безмятежно спал, но друг его разбудил, зная, как он ждёт это письмо.

Кирилл приподнялся, нетерпеливо надорвал маленький конверт, жадно впился в синие строчки.

И вдруг переменился в лице. Заскрежетав зубами, упал на подушку, комкая письмо в руке.

Василий с большим трудом разжал руку друга. Расправив бумажный листок, прочитал: «Кирилл, мы договорились с тобой говорить друг другу правду. Я встретила парня, мы собираемся пожениться. Я думаю, ты поймёшь меня и простишь...»

Василий со злостью смял листок, швырнул в раскрытую форточку.

– Вот, стерва! А мы все ей верили...

Уже три дня Кирилл лежал молча. Перестал вставать, перестал принимать лекарства, почти ничего не ел. Лежал неподвижно, вперив свой единственный глаз в потолок, не закрывая его ни днём, ни ночью. Василий понимал состояние друга, сопереживал. Но, видя, что это продолжается третьи сутки, попытался его развлечь. Анекдотом. На что Кирилл ответил отборным матом. «Как не удумал бы чего, – забеспокоился Василий. – Ведь не укараулишь!» Пошёл к лечащему врачу, объяснил всю ситуацию.

На обходе врач особо внимательно осмотрел Кирилла.

– Что-то я не вижу улучшения. Говорят, тебе девушка изменила?

Кирилл демонстративно отвернул голову к стене.

– А знаешь, парень, это даже очень хорошо, что она ушла именно сейчас. Ты – счастливчик!

Не ожидая ничего подобного, Кирилл повернулся и уставился на доктора.

– Да, да, не удивляйся. – улыбнулся тот. – Ты же знаешь, солдат, что человек, предавший один раз, предаст и второй. А нам, мужикам, нужен тыл надёжный. Вот почему с одними мы дружим, а на других женимся. Представь, если бы она изменила тебе, когда вы были бы женаты, были бы дети. Вот это трагедия!

Доктор помолчал.

– Конечно, это чёрная полоса в твоей жизни. Это будет долго жечь душу. Но это пройдёт. А ты теперь понял, что она за человек. С тобой была, когда ты был красив и силен. Узнала, что покалечен – бросила. Вот, парень, и думай. Сам думай, решай сам: стоит ли она твоих переживаний в ущерб здоровью.

Врач ещё раз ощупал правую ногу:

– В норме, даже отёка нет. Надо разрабатывать. Бросай коляску, солдат, на костыли и – вперёд! Да, чуть не забыл, – к протезисту зайди – заказывал.

После ухода врача Кирилл снова уставился в потолок. Лежал неподвижно часа два. Василий с тревогой поглядывал на Кирилла, приходя к мысли, что его ожидания положительных перемен в настроении друга не оправдались.

– Дай костыли! – неожиданно громко потребовал Кирилл. – Пройдусь.

Василий обрадовался. Зная напористый характер друга, понял, что теперь всё будет нормально.

И в самом деле, Кирилл стал работать над собой с удвоенной силой. Он целыми днями ходил по коридору, постукивая костылями. Было видно, что передвижение даётся ему с большим трудом, но он ходил. Натёр мозоли на руках, стёр поручнем костыля подмышки, но всё равно ходил. Утрами делал, как мог, зарядку. По рекомендации врача, стал посещать массажиста, для укрепления общего тонуса. Синева под глазами и мрачные тучи с его лица потихоньку стали сходить. Он всё чаще стал улыбаться.

А потом получил письмо от одноклассницы, Ларисы. Чему был крайне удивлён. Она писала, что все ребята возмущены поведением Любы, а на дискотеке только что «дембельнувшийся» Пашка Толстых при всех врезал ей по лицу. «...Она в своё оправдание закричала: «Он не ходит! Я, что, его всю жизнь должна на коляске возить?!» Вот я и решила тебе написать... Если ответишь, буду рада...»

– Ну, Лариска-крыска! – вслух бросил Кирилл.

– На кого это ты так? – спросил Василий, внимательно наблюдавший за другом.

– Да учились мы вместе в школе... – Кирилл небрежно помахал листком, бросил его на тумбочку.

– Почему «крыска»? Для рифмы или характер плохой?

– Характер у неё ничего. В лице что-то такое... Лицом вся в нос ушла, глазки маленькие, чёрненькие...

– Некрасивых девушек не быва-а-ет, – с расставкой произнёс Борис, читавший книгу, вернее, де-

лавший вид, что читает. – Есть девушки редкой красоты.

– Да ты бы видел её! – оправдывался Кирилл.

Немного подумав, тихо добавил:

– Да и я теперь не тот красавчик, по которому девки с ума сходили.

– Прямо-таки сходили? – ехидно поинтересовался Борис.

– Ну, не сходили... – смутился Кирилл. – Но дружить многие предлагали.

Он сник, лёг на кровать, застыл в своей излюбленной позе, уставившись в потолок. Внезапно подскокил, как ужаленный.

– Васька! Дай блокнот и ручку. А как всё до матери дойдёт?! Она ведь и дом продаст, чтобы деньги выручить, сюда прилететь и около меня сидеть. А чем она мне тут поможет? Только слезами! Сама изведётся и мне будет сердце рвать. Срочно надо писать «крыске», чтобы молчали там все до единого.

Так, неожиданно для Кирилла, завязалась переписка с Ларисой. Вскоре он уже с нетерпением ждал от неё очередного письма. Как когда-то ждал от Любовы. Правда, от любимой письма согревали душу, а Ларисины – возбуждали живой интерес узнать о друзьях, о родителях. От писем одноклассницы веяло домашним теплом, чем-то родным. Она подробно описывала все житейские новости. Письма были приятные с изюминкой юмора. Кирилл невольно отмечал, что Бог Ларису умом не обидел.

Молодая жизненная энергия и усилия опытных врачей потихоньку делали своё дело. Кирилл уже ходил на костылях, уверенно наступая на правую ногу, хотя левая ещё беспокоила.

Ему вставили, стеклянный протез глаза, с тщательно подобранной по цвету радужной оболочкой. Взглянув на себя в зеркало, Кирилл чуть не подпрыгнул от радости. Не ожидал: на него смотрел он прежний, разве что бледный очень и исхудавший.

Единственное неудобство – необозреваемость с левого боку. Приходилось чаще поворачивать голову влево, но это уже было совсем не важно.

К Кириллу вернулось его весёлое расположение духа. Он снова стал шутить, травить анекдоты, как прежде, в части.

Василий искренне радовался положительным переменам в друге. Почти всё время они проводили вдвоём. Вместе ходили на обязательные процедуры, вместе тренировались в тренажёрном зале, восстанавливая физическую форму. Василия готовили к выписке, и, чувствуя скорое расставание, друзья часами разговаривали, вспоминая службу в Чечне, ребят из своей роты. Служба, война... Всё это уходило в безвозвратное прошлое. Понимали, что в часть они не вернуться, после лечения их комиссуют. И госпиталь осточертел. Душа рвалась домой.

В родные места Кирилл вернулся через три месяца после ранения.

Мать, узнав правду, заплакала:

– А я, Кирюша, чувствовала, что с тобой что-то случилось. Уж больно письма твои мелодичными стали, будто не пишешь, а поёшь. Ты как ушёл служить, так у меня сердце стало рваться, видно, беду-то предчувствовало... Ты знаешь – всегда я атеисткой была, а вот стала молиться. Утром встаю, солнышко прошу, чтобы тебя защитило. Вечером – луну да звёздную ночь, чтобы от всякого лиха укрыли. Отец глядит на меня и ворчит: совсем ты, мать, рехнулась. А я всё равно молилась. Правду говорят: сердце матери не обманешь. Вымолила я тебя, сынок, у смерти. Не время тебе умирать, внуками ещё нас надо порадовать.

Кирилл вздрогнул: «Не время... Я ведь нагнул, чтобы поднять часы. А были ли они там?..» Ему стало не по себе. Вытер рукой слёзы с материнных щёк, прижал её к груди.

– Мама, всё хорошо. Я вернулся. Я живой!

– И то правда... Что это я, дурёха, радость слезами заливаю.

Он медленно шёл по улице, а в голове, словно дятел стучал: не время тебе умирать... не время... «А вот Вовке и Лёшке, значит, – время?» Жутко захотелось курить. Кирилл остановился, сунул руку в карман, достал пачку. Но мятая картонная коробочка оказалась пуста. С досадой отбросил её и напрямик направился в магазин.

В небольшом торговом зале, возле прилавка стояли три женщины. Не обращая на них внимания, Кирилл попросил:

– Пачку «Примы», без сдачи.

– Кирилл? Вернулся?

Он повернул голову. Между двух женщин стояла удивлённая встречей Люба. Не стесняясь посторонних, бросилась к нему, хотела обнять. Кирилл перехватил её руки, отшатнулся.

– Я всё понял и простил. Как ты хотела.

Грубо ответил, зло.

– Но ты же писал, что нет глаза, перебиты ноги! – почти завизжала Любава.

Кирилл растерялся, взглянул на женщин в маленькой очереди, на продавщицу. На него смотрели три пары любопытных глаз.

– Испугалась? – бросил презрительно и громко. – А я... Я наврал тебе! Хотел проверить, так ли ты меня любишь, как в письмах писала.

Увидав смятение Любавы, громко захохотал и, подхватив с прилавка пачку сигарет, не спеша, гордо вразвалочку, вышел.

На улице его пробрала дрожь, хотя уже вовсю царствовала весна, денёк выдался на редкость тёплый, ярко сияло солнышко, и ласковый ветерок слегка покачивал молоденькие листочки берёзки, посаженной возле магазина.

Кое-как прикурил сигарету. Руки не слушались, всё время тухла спичка. По тому, как Любава бросилась к нему, понял: он ей не безразличен. Но уже через несколько мгновений, наконец-то глотнув табачного дыма, Кирилл довольно спокойно обнаружил, что ничего, собственно, не шевельнулось в сердце. А вот

мужское самолюбие – даже сам поразился! – неожиданно приятно щекотнуло. Кирилл прикусил зубами сигарету, засмеялся и твёрдой походкой пошёл домой.

Через неделю Кирилл устроился на работу в местную воинскую часть. Гражданским служащим, слесарничать в автобатальоне. К его удивлению, комбат отнёсся к нему с большим пониманием: предоставил

работу и даже двухкомнатную квартиру бывшего прапорщика. Но квартиру дал позже, через месяц, когда Кирилл обзавёлся женой. И никакой уж такой у неё нос. Нормальный, очень даже аккуратный. И глаза совсем не маленькие, хоть и чёрные, как угольки. А ещё на розовых щёчках такие прелестные ямочки, когда улыбается его Лариска... В общем, никакая она не «крыска», а красавица.

БОМЖИХА

Закончилась лекция, и две однокурсницы отделения журналистики, Наташа и Ксюша, выйдя из аудитории, бегом побежали по коридору. На вечер у них было много чего запланировано, и они торопились в общежитие.

Рядом с общежитием, возле высокого крыльца, сидел на корточках мужчина с протянутой рукой. Ксюша в недоумении остановилась: «Ну, ты, дядя, даёшь! Нашёл, где просить. Нам впору хоть с тобой садись или на базар иди!» Девчата засмеялись и побежали в общежитие. Наташа спросила у вахтёрши:

– Тётя Дуся, нет ли мне перевода?

– Нет, деточка, нет, – ответила женщина.

– Ну, нет, так нет.

– Придётся тебе, Наташа, написать заметку да снести в газетку, – посоветовала Ксюша.

– Да о чём писать? Нужен материал, – с грустью ответила Наташа.

– Ладно, не кисни, сегодня за вечер две пятиэтажки обойдём, подписи соберём, господа кандидаты в депутаты с нами рассчитаются за подписные листы, вот тебе и деньги, – успокоила Ксюша.

Девчата побежали вверх по лестнице на третий этаж, в свою 326-ю комнату. В комнате Ксюша тотчас с наслаждением плюхнулась на кровать, а Наташа сразу принялась готовить. Воткнула в розетку электрочайник, включила электроплитку, поставила на неё кастрюлю с водой.

– У нас ещё банка тушёнки, сейчас рожки с тушёнкой сварим и перекусим.

– Давай, – согласилась Ксюша.

Через полчаса в комнате приятно запахло разогретой тушёнкой. Не успели девчата сесть за стол, как в комнате появился Гриша, студент спортфака из соседней комнаты.

– Девочки, что это вы тут сварганили? Иду по коридору, из вашей комнаты такой запахок...

– Ну, Гриша, без вас никак, – буркнула Ксюша, – садись.

Наташа молча положила на стол ещё одну ложку.

– Ты, Гриша, прикинь, возле общежития бомж сидит! – возмущённо сообщила Ксюша.

– Да видел... Он у меня закурить попросил. Ну, я ему дал сигарету и спрашиваю: «Чё ты, батя, тут сидишь?» Ответил: собирает деньги, чтобы платное обследование пройти в больнице. Говорит, что весь живот режет, тошнит, а в больницу не берут, нет полиса,

нет прописки. Я спросил: «А где же ты живёшь?» И вы знаете, что он мне ответил? На свалке.

– Где, где? – переспросила Наташа.

– На городской свалке, – пояснил Гриша, – там, оказывается, целый посёлок бомжей, там живут, там работают.

– Ну, ты Гриша, весь аппетит испортил, – промялила полным ртом Ксюша.

Юноша рассмеялся:

– Тебе испортишь, вон, как улетаешь – за обе щеки!

– А где они там работают? – спросила Наташа.

– Перебирают привезённый мусор. Более-менее хорошие продукты, одежду и домашнюю утварь берут себе, а металл и стеклянные бутылки сдают предпринимателям, те рассчитываются с ними спиртом да куревом. Вот так и живут.

– Вот, Наталья, чем тебе не материал? – сказала Ксюша, разливая горячий чай по кружкам.

– А как я туда попаду?

– Да очень просто, – посоветовал Гриша, – каждое утро мусоровоз баки возле общежития очищает и вывозит мусор на свалку.

Он встал из за стола, изобразил поклон:

– Спасибо, девочки, всё было очень вкусно, я пошёл.

– Нахал, за халюву мог бы и посуду помыть! – возмутилась Ксюша.

Гриша ещё ниже наклонился, прижал руку к сердцу и задом попятился к двери.

– Девочки, милые, очень спешу, как-нибудь в следующий раз.

– Вот шут гороховый! – засмеялась Ксюша.

– Да пусть стоит, вечером вымоем, – сказала Наташа, сталкивая посуду на край стола. Она накрыла цветным полотенцем посуду и быстро стала одеваться.

– Ксюша пошли, некогда сидеть.

Выйдя из общежития, Наташа приостановилась возле бомжа, внимательно посмотрела на него, что-то соображая своей очаровательной головкой.

– Пошли, чё встала? – дернула за рукав её Ксюша.

– Знаешь, – нерешительно ответила подруга, – завтра с утра у нас нет занятий, я, наверно, сгоняю на свалку.

– Завтра будет завтра, а у нас сегодня дел по горло.

В общежитие девчата вернулись поздно вечером, недовольные своей работой в предвыборной кампании. Нужное количество подписей собрать они не смогли. Люди к ним относились недоброжелательно, некоторые жильцы даже не открывали дверь, ругались, дескать, ходят тут всякие, то за одну партию, то за другую подписывайся, а жизнь легче не становится, хватит, наголосовались. И прогоняли.

– Ну, что за народ пошёл? Ну, никакой сознательности! Неужели непонятно: какую власть выберем, так и жить будем, – ворчала Ксюша, лежа на кровати. Закинув руки за голову, она внимательно разглядывала потолок, словно там был написан ответ на её вопрос. – Придётся нам и завтра побегать по квартирам.

– Что сделаешь? Будем ходить, работу надо сделать, – неохотно ответила Наташа. – Только утром я, наверно, поеду на свалку.

Ксюша перевела взгляд с потолка на подругу, покачала головой, в знак несогласия, но ничего не сказала. Она знала, что Наташа – человек настырный, переубеждать бесполезно.

Рано утром Наташа спустилась на первый этаж общежития, здесь из окна были видны мусорные контейнеры. Она устроилась на подоконнике и стала ждать мусоровоз. Минут через тридцать появилась машина. Наташа выбежала из общежития и – напрямиком к водителю:

– Здравствуйте, возьмите меня на свалку.

– А не рановато? Вроде ещё молодая, – засмеялся мужчина.

– Да мне статью надо написать, там говорят, бомжи живут.

Водитель подозрительно посмотрел на новоявленную журналистку.

– Ну, садись в машину, коли так.

Уже через полчаса мусоровоз направился к городской свалке.

– Станный вы народ, журналисты, к чёрту на рога готовы залезть ради сенсации. А не боишься, ведь там же бомжи? – Водитель исподлобья поглядывал на девушку.

Холодок страха прокатился по телу девушки, как-то об этом она и не подумала.

– Но ведь я еду днём, там люди работают, – ответила неуверенно Наташа.

– Да, какие люди? Бульдозеристы работают на одном конце свалки, а бомжи живут на другом.

Водитель посмотрел на спутницу. Наташа съёжилась, но страх старалась не показывать. Девушку было жаль.

– Ладно, хоть и крюк для меня, лишних два километра, но я довезу тебя до них. Обрато по этой же дороге выйдешь к мусоровозам. Они через каждый час подъезжают. Бомжей сейчас нет, с утра они мусор перебирают, а Вера Петровна всегда дома. Не город, найдёшь!

Поблагодарив водителя, Наташа легко выпрыгнула из машины. Перед её взором то там, то здесь виднелись жилища бомжей – полуземлянки: большая

часть вырыта в земле, а сверху – дощатые стены до метра высотой. Крыши покрыты обломками шифера, кусками толя. В стороне от землянок горел костёр. Вокруг него валялись деревянные ящики, очевидно, служившие сиденьями для бомжей. Лёгкий ветерок донёс неприятный запах со стороны свалки. Наташа почувствовала отвращение, в мыслях промелькнуло: «На фига я сюда припёрлась?.. Нищета, грязь, о чём тут можно писать?»

Из ближайшей землянки вышла женщина с ведром в руках. Она высыпала содержимое ведра в костёр и, увидев прилично одетую девушку, удивлённо спросила:

– Мила-ая, тебя каким ветром сюда занесло?

– Да, я к Вере Петровне... Где её можно найти?

– А вон её скворечник топится, она там, – указала пальцем женщина и быстро исчезла.

Наташа обвела взглядом землянки, только над одной подымался дымок. Она подошла, постучала в картонную дверь.

– Войдите, – раздался отчётливый голос.

Девушка протиснулась в жилище. Внутри было душно и сумрачно. Свет струился из маленького оконца, расположенного возле самого потолка. В углу топилась металлическая печь-буржуйка, на которой важно пыхтел чайник, стояла кружка с каким-то отваром.

Потолок и стены были обиты картонными коробками, а возле стола даже наклеены обои. Металлическая кровать застелена пикейным покрывалом пепельного цвета с оранжевым замысловатым рисунком. Над кроватью висел матерчатый рисованный ковёр: олень среди цветущего луга, а вдали – горы в синеватой дымке. Пол устлан разноцветными круглыми половиками, связанными вручную из матерчатых лоскутов.

Наташа была поражена. Она ожидала увидеть грязь и полупьяную бомжиху. Но в землянке было чисто и даже уютно, а перед ней стояла худенькая, аккуратная женщина.

– Здравствуйте! Вы Вера Петровна?

– Да, а тебе чего?

– Я – журналистка, хотела с вами побеседовать.

– Побеседовать... – усмехнулась женщина – Ну, проходи к столу, садись.

Наташа села на ящик, служащий стулом, и только сейчас заметила, что треть стола занимали аккуратно сложенные книги.

– Вы читаете? – удивилась она.

– А чему ты так удивляешься? В советское время безграмотных не было. Мы читали везде – дома, в поездах, в автобусах. Чуть выдалась свободная минутка, сразу за книгу или журнал. А сейчас... Книжки, которые мы в наше время не могли достать, просто выбрасывают на свалку! Полные собрания сочинений Толстого, Вересаева, Булгакова, Есенина... Парадокс! Духовная ценность нашего поколения на свалке...

Женщина посмотрела на книжки и махнула рукой.

– Что это я? Я ведь тоже на свалке, – добавила она.

– Вы так странно говорите о классиках... А вы кем работали?

– Тебя как зовут? – вопросом на вопрос ответила Вера Петровна.

– Наташа.

– А работала я, Наташенька, преподавателем литературы и русского языка в политехническом техникуме, ныне это лесотехнический колледж.

– Да, как же вы тут-то оказались?! – Девушка была поражена.

– Не живи, как хочешь, как бог даст. Хотя в бога на свалке никто не верит. Да и сытым народным избранникам и канцелярским крысам тоже никто не верит, здесь все прошли через боль и унижение. На свалке больше к человеку сострадания, нежели в некоторых благопристойных офисах. Я, Наташенька, давно и тяжело больна, а эти бедолаги меня кормят, ухаживают, согревают теплом...

Женщина слабо улыбнулась.

– У нас тут, на свалке, – маленький коммунизм, к которому наше поколение так стремилось. Ни за что не платим, всё бесплатно, еды и одежды нам хватает... Работаем по возможности, едим по потребности.

– Вы ещё и шутите. И всё-таки, как же вы сюда...

– Это длинная история.

– И всё-таки... Расскажите, пожалуйста, – попросила Наташа.

Старушка тяжело вздохнула, подняла голову к оконцу и, уставившись в одну точку, проговорила:

– Всё было... всё, что нужно... И враз закончилось с этой перестройкой... Перестроились на капитализм!..

Она опустила голову и задумалась. Наташа смотрела на собеседницу в ожидании продолжения рассказа, но старушка молчала, а у Наташи не хватало решимости поторопить её. Так продолжалось минут десять. Наконец, Вера Петровна начала говорить.

– Всё было... Муж, дети, трёхкомнатная квартира, хорошая работа... Я двадцать лет работала преподавателем в техникуме, а муж – инженером на машзаводе. Жили в самом центре города – на улице Журавлёва. Двух детей растили... И в мыслях даже не было, что когда-то у меня не будет куска хлеба... Верили в светлое будущее, в коммунизм. Работали с душой, зарплата была хорошая. Постепенно завели всё, что нужно в доме, и машину «Москвич-412» купили... Почти каждый год в отпуск всей семьёй ездили в Татарстан. Муж был родом из тех мест. Это и стало нашей бедой...

– Как это? – удивилась Наташа.

– А вот так. Когда началась перестройка, начали закрывать предприятия, обанкротили и машзавод. Муж остался без работы... И принял решение ехать на родину. Я уволилась, всё продали и – поехали. Только там мы были не нужны. Там творился такой же хаос, как и везде в России. Только ещё во всех грехах винить русских начали. Мы с мужем прожили около тридцати лет, и свекровь, и родственники ко мне относились всегда очень хорошо, а тут волком смотрят на меня. На работу нигде не берут. Дочери, они у нас двойняшки, хорошо экзамены сдали, а в институт их не приняли... У мужа после этого случился инфаркт... И осталась я с детьми одна... Вернулись

обратно в Читу, сняли квартиру. Хотела вернуться обратно в техникум, вернее, он уже стал колледжем, – а у меня в битком набитом автобусе – я даже не заметила! – сумочку разрезали, украли кошелек и документы... На работу меня без документов не взяли, хотя администрация меня прекрасно знала...

Попыталась получить новый паспорт. А в паспортном столе заподозрили, что я хочу получить вид на жительство – фамилия-то у меня Шамсутдинова. Затребовали свидетельство о браке, а его у меня тоже нет. Сделала запрос в Татарстан, где когда-то мы с Долгатом регистрировались, – ответа не пришло... Вот и получилось, без бумажки я – букашка, – усмехнулась Вера Петровна и замолчала.

– А дальше-то что? – тихо спросила Наташа.

– А дальше я поняла, что на нормальную работу мне не устроиться. Денег у нас оставалось не так уж много. Девчонки мои поступили всё-таки в институт... Сняла им комнату, как иногородним... Оставшиеся деньги положила девчонкам на сберкнижку, а сама... Надела тёмные очки, кепочку, чтобы не узнали знакомые, и – пошла работать на рынок к китайцам. Там документов не спрашивают, они сами без документов.

Жила вместе с ними в подвале... А потом привязался ко мне этот кашель... Китайцы лечили меня своими таблетками и отварами, но облегчение наступало ненадолго. Однажды приступ удушья случился прямо на рынке, вызвали «Скорую». Врачи откачали, но сказали, что у меня астма, нужно серьёзно лечиться, только в больницу не взяли – нет полиса... Вернулась я в подвал к китайцам, но они закрылись и меня больше не пустили. Стала ночевать то на вокзале, то в кочегарке, то в подъезде, в общем, там, где есть тепло. Старалась выглядеть более-менее прилично, чтобы можно было зайти в столовую, где много народу, сесть за столик, дожидаться, что кто-то из посетителей оставит недоеденное блюдо и уйдёт. Быстро его брала и съедала. Там же на рынке познакомилась с жителями свалки и – вот живу теперь здесь...

– А что дочери отказались от вас?

– Боже упаси! Они ничего про меня не знают... Я им сказала, что поеду в деревню на Чикой, к нашим знакомым... Мол, там далеко от цивилизации, можно и без документов жить, буду, де, огород садить, за скотом ухаживать...

Она замолчала, тяжело вздохнула.

– Хорошо, что от китайцев достался сотовый. – Она вынула из кармана халата простенький сотовый телефон. – Вот, раз в неделю детям звоню, а счёт они мне пополняют. Берегу его, в нём – вся моя радость.

Она бережно положила телефон в карман.

– Так далеко шагнул прогресс: сотовые телефоны, компьютеры, Интернет. Со свалки можно позвонить в приличный дом... Была я однажды у детей... Хозяйка уехала в Китай – она занимается коммерцией, – я и «приехала»... Так сказать, из Чикоя, в гости, – усмехнулась Вера Петровна. – Очень уж хотелось увидеть девчонок, посмотреть, как они живут... Поразились, как много стало бытовой техники у людей! Микроволновая печь, тостер, кухонный комбайн, хлебо-

печь – сама всё делает и хлеб и булочки... А стиральная машина – просто чудо, бельё заложи и кнопку нажми... Телевизор подключён к «тарелке», показывает тридцать каналов... Я всю жизнь мечтала побывать в Ленинграде, походить по музеям... Девчонки усадили меня за компьютер, вышли в Интернет и – вот они, музеи. Впервые за все эти годы душой отдохнула и телом, так было хорошо...

Женщина замолчала, перевела взгляд на своё крохотное оконце.

– Да... – продолжила она. – Жизнь прекрасна... Только нет в этой жизни места нам, людям прошлого века. Не смогли мы приспособиться к этой перестройке... Не научились воровать, обманывать, привыкли доверять людям. Мы просто жили, работали и верили в светлое будущее, а оно оказалось на свалке...

Она замолчала, дрожащими руками провела по пуговицам халата, из глаз потекли слёзы.

– Что вы, Вера Петровна, успокойтесь! – засуетилась Наташа, не зная, как успокоить собеседницу. Женщина плакала, тихо шмыгая носом.

– Да я ни одна тут такая. Клавдия, вон, двухкомнатную квартиру обменяла на коттеджик в пригороде. Молодой мужик предложил, вещи и мебель, всё за свой счёт перевёз. Клавдия так была рада... А через месяц оказалось, что это жилище не его, приехали хозяева. Кинулась она в свою квартиру, а там другие люди живут, законно купили квартиру. Она – в суд, подала заявление. А оказалось-то... что она сама продала квартиру по доверенности. Вот так... – развела руками Вера Петровна. – Или, вон, Алексей. Работал инженером на КСК, предприятие закрылось. Он долго не мог найти работу, ну, жена его и выгнала. Теперь, вот, на свалке собирает металлолом, бутылки, сдаёт коммерсантам...

– Извините, но вас послушать, так на свалке одни ангелы живут.

– Не ангелы, конечно... Но немало вполне нормальных людей, попавших в беду. В силу обстоятельств не смогли выкарабкаться. А подонки среди нас не задерживаются. Такие живут в городе, грабят на вокзалах, в автобусах, в общем, живут за чужой счёт. А здесь – своим трудом, только расчёт за него дешёвым спиртом, а не деньгами. Пьют здесь много...

Старушка тяжело вздохнула.

– От безысходности, наверное... Боль душевную заливают. Но горящую душу спиртом не залить. Она гибнет. Да и чем быстрее, тем лучше. Меньше мук примешь...

Кашель прервал её. Она дышала с трудом, с каким-то свистом. Подойдя к печке, трясущейся рукой взяла кружку с травяным отваром, стала пить маленькими глотками.

– Скорей бы умереть, устала я, – прохрипела она. – Ничего уже не радует, ничего хорошего не жду. Правда хотелось бы дожить до юбилея, в январе мне будет пятьдесят.

Наташа выпучила глаза. Господи, перед ней стояла дряхлая старуха, лет за семьдесят. Девушке стало тяжело и неудобно в землянке, захотелось бежать отсюда. Она быстро встала и попятилась к двери.

– Извините, мне надо идти, опаздываю.

– Что-то разоткровенничалась я с тобой, – заволновалась Вера Петровна. – Ты не вздумай девчонок моих искать! Я всё равно уже не жилец, а этой правдой можно им жизнь испортить. Я хоть и неверующая, но молюсь Всевышнему, чтобы помог моим детям окончить университет, найти работу, благополучно устроиться в жизни, чтоб хоть они могли спокойно жить и радоваться жизни.

– Не волнуйтесь, я не нарушу вашей тайны. До свидания! – выпалила Наташа и выскочила из землянки. «Надо же... Сама умирает, а думает о детях!» – молнией пронеслось в голове. Ком горечи подступил к горлу, слёзы покатались по щекам. Она шла по дороге к разгружавшемуся мусоровозу, шмыгая носом и смахивая рукой слезинки. На душе было тяжело, людское горе щемило сердце, в голове путались мысли.

Всю дорогу до самой Читы, Наташа ехала молча. Пожилой водитель искоса поглядывал на девушку, тревожить разговором не стал.

Возле общежития опять сидел тот же нищий. Наташа остановилась, в памяти всплыли слова Веры Петровны: «Жизнь прекрасна, только нет в этой жизни места нам...»

Девушка вынула последнюю десятку и подала мужчине.

КЕША

Иннокентий не спеша шёл на работу. Похрустывал под ногами снег, в лучах восходящего солнца искрился разноцветными огоньками, и казалось, будто идёт он, Иннокентий, не по зимней тропинке, а по хрустальному пуховому одеялу, ласково укутавшему матушку землю. Хорошо было на душе у Иннокентия. Он глубоко вдохнул свежий морозный воздух и вслух сказал: «Ура! Я дома, кончилась моя каторга».

Он зашёл в бытовку нижнего склада или, как её называли рабочие, в «курилку». В небольшой комнате вдоль

стен стояли деревянные лавки. У окна – длинный трёхметровый стол, за которым мужики играли в домино.

– Здравсте, – громко поздоровался Иннокентий и сел на лавку возле двери.

Бригадир сурово посмотрел на новичка, обвёл его прищуренным взглядом и спросил у мастера:

– Тося, этот, что ли, новый работник?

– Этот, Гаврила Иванович.

– Так... – бригадир глянул на часы. – Десять минут десятого. Мы должны уже десять минут работать,

а мы ещё в курилке сидим. Пока до эстакады дойдём, кабеля натянем, электропилы подключим, стрелочки будут на десяти. Сегодня норму едва ли сделаем. Вот вам и премия, мужики!

Гаврила Иванович резко встал из за стола и быстро вышел из бытовки. Двенадцать человек комплексной бригады гуськом потянулись за ним.

Бригадир шёл быстро, сразу было видно, нервничал. Николай, второй электропилищик, догнал бригадира и попытался успокоить.

– Гаврила Иванович, сегодня норму не сделаем, так завтра догоним.

– Ага! Догонишь с ним, сноровки нет, будет дергать нам транспортёр, не в три пилы, а в две будем пилить. Мало того, что он не умеет работать, он уже не хочет работать. Всё! Плакала наша квартальная премия. Дал же бог работничка, зэк он и есть зэк.

Бригадир с досадой махнул рукой и зашагал ещё быстрее. Последние слова больно резанули по сердцу Иннокентию. Он вскипел и хотел было догнать бригадира, врезать ему по шее, но что-то его остановило.

«А кто я для них? Пришёл с тюрьмы, значит зэк, – подумал он. – Вот так знакомство! Значит, нормальных отношений не получится». Ему стало не по себе, хорошее настроение будто ветром сдуло. Всё внутри напряглось. Он сжал кулаки, словно ожидая нападения. Но мужики спокойно шли за бригадиром. Иннокентий встrepенулся: «Чё, это я, дурак, съёжился? Плевать на них, главное – я дома».

Бригада по трапу поднялась на эстакаду. Бригадир приказал второму номеру:

– Иди, Коля, покажи новенькому его место.

Николай повёл Иннокентия от разделочных эстакад по пешеходной дорожке транспортёра. По пути рассказывал, что по транспортёру пойдут брёвна разного диаметра и разной длины, то есть сортименты. Для каждого сортимента есть свой карман, и если вдруг не сработает самосбрасыватель, нужно остановить транспортёр и вручную сбросить бревно в карман. Через семьдесят метров он остановился.

– Вот! Это середина транспортёра, здесь всё видно. Стой, наблюдай, если затор, то дёрни за проволоку, транспортёр остановится. – Николай взял в руки метровую палку, стоящую рядом. – Это стяг, вот так им будешь подталкивать бревно.

Он нагнулся и хотел показать, как сбрасывать сортимент, чтобы он лёг в штабель ровно. Но Иннокентий вырвал стяг и буркнул:

– Без тебя знаю.

– Ты смотри, умник, не сделай затора! Порвёшь транспортёр, вся смена пропадёт.

– Иди, иди, – спокойно ответил Иннокентий и прислонился спиной к перильцам пешеходной дорожки, ожидая сортиментов.

В памяти всплыл 1986 год, как он после школы, никуда не поступив, пришёл работать на эстакаду. Работал на этом же транспортёре, только тогда не было самосбрасывателей. На сброске сортиментов работали четыре человека, а теперь он один. Поглядел в сторону эстакад, к нему на транспортёре ехали брёвна.

– Началась работа, – тихо сказал он и стал заглядывать в карманонакопители, запоминая, где какой сортимент лежит.

Работал Иннокентий с большой охотой, даже воспометел, несмотря на тридцатиградусный мороз. Старался, как можно реже останавливать транспортёр и не заметил, как пролетело полтора часа. Рабочие с эстакад спустились на перерыв. К нему подошёл Николай.

– А ты молоток! Бригадир тобой доволен. Он сначала-то всё бузил, думал, что ты не справишься. Одно звено снял и заставил козырьки слаживать, а потом видит, что транспортёр идёт ровно, давай третью пилу в работу запускать.

Иннокентий слушал и пристальным взглядом оценивал собеседника.

«Э, браток, да ты шестёрочка. Мне речь толкнул о бригадире, а бригадиру понесёшь обо мне», – сообразил Иннокентий, сразу решил перевести разговор и спросил:

– А почему рабочие в «курилку» идут, а не в столовую?

– Какая столовая? – удивился Николай, – она уже год не работает.

– Почему?

– Закрыли, убыточная стала.

– Десять лет назад построили столовую для рабочих, выгодно было, а теперь, значит, нет?

– Да ты, видно, работал тут, раз всё знаешь?

– Приходилось! А баня работает?

– Нет, баню самую первую закрыли, потом ликвидировали подсобное хозяйство, а потом – столовую.

– И что теперь, в перерыве чай не пьёте?

– Ага, в курилке бракеры чайник кипятят. Приносим, кто что может, и пьём чай. Душу согреем и снова на мороз.

– А в операторной кто?

– Там одна тётя Клава.

– Ясно, я к ней схожу.

Иннокентий зашёл в операторную. За пультом сидела худенькая пожилая женщина. Рядом стояла литровая банка с водой и вставленным кипятильником.

– Здравствуй, тётя Клава, – улыбаясь, произнёс Иннокентий.

– Кеша! Ты что ли? А я всё приглядываюсь в окно, что за новый сортировщик? А это ты... Вернулся, значит, на своё место?

– Вернулся.

– Ну и, слава богу! Давай чай пить, вон вода закипает.

– Не, спасибо. Как живёшь, тётя Клава? Вижу, виски поседел.

– Так до пенсии год остался, хоть бы доработать. Производство чахнет, рабочих сокращают. Безработные уж, как в Америке. Люди злые стали.

– Насчёт людей, это точно сказала. Меня тут тоже почти в штыки встретили.

– Знаешь, Кеша, ты со злом в сердце не живи, не приживёшься иначе. А работу сейчас найти трудно. Ты помнишь, у нас в бригаде пять женщин было? Те-

перь осталась я одна. Из состава бригады вывели, на тарифе сижу. Вроде к бригадной зарплате и отношения не имею, а всё косо посматривают.

– Ясно... И здесь стал действовать закон джунглей: кто слабее, того в расход.

– Не говори, хоть бы ещё год продержаться, – вздохнула женщина, – а помнишь, Кеша, какая у нас дружная бригада была? Друг другу помогали, заменили, если надо было отлучиться. Взаимовыручка была, чувство товарищества.

– Да уж! Взаимовыручка меня и подвела. Выручил шакалов, а сам сел на восемь лет.

– Как на восемь? Мы же всей бригадой за тебя хлопотали, тебе же скостили, шесть лет дали.

– Дали то шесть, да два года на зоне заработал.

– За что?

– В обиду себя не дал. Пером ткнул одного гада, вот и два года добавили, – ответил Иннокентий и надрывно закашлялся.

Женщина с сочувствием посмотрела на парня.

– Намотался ты видно, Кеша, сполна.

– Да это я набегался, вспотел, вот и закахыкал.

– А что ты бегаешь за каждым бревном, как мальчишка? На то и оператор сидит, подай сигнал, – она взглянула в окно, – иди на транспортёр. Бригада вон уже на эстакаде.

Иннокентий вышел, покашливая.

«Всё, надо бросать курить! Там не смог бросить, а здесь надо», – решил он. Не спеша прошёл по транспортёру и встал на своё рабочее место. Теперь стал более внимательно смотреть за флажками самосбрасывателей. Если флажок поворачивается к карману, значит, бревно сбрасывается, и лишний раз не стоит бежать.

Но к концу рабочего дня Иннокентий устал с непривычки. Однако домой шёл довольный, с гордым чувством рабочего человека.

На следующее утро пришёл раньше, чем вчера, до бригадира ещё. Гаврила Иванович зашёл, посмотрел по сторонам и громко сказал: «Все в сборе? Пошли!» Бригада гуськом потянулась следом.

– Вот безмозглая курица! Куда лезет с ребёнком? Ещё и санки за собой тащит! – Гаврила Иванович узрел, как по трапу на транспортёр поднимается женщина с ребёнком на руках, громко выругался.

Иннокентий тут же отделился от бригады, подошёл к женщине.

– Почему посюда с ребёнком? Мост же есть! Давай помогу.

– Проспала я, опаздываю на работу. Если через мост, это крюк в полтора километра, а тут перешёл через линию и – детсад, – виновато ответила женщина.

Иннокентий взял ребёнка на руки. Малыш сначала отпрянул от чужого дяди, надул губы, собираясь заплакать, но, увидав высокий транспортёр и, очевидно, напугавшись, схватил мужчину за шею и прижался к нему.

Малыш дышал прямо в лицо Иннокентию. От этого детского дыхания у него стало тепло и приятно на

душе. Он никогда не испытывал такого чувства, ему казалось, что малыш отогревает его заледеневшее сердце. С удовольствием нёс ребёнка, но скоро миссия закончилась, и он поставил мальчика на землю. Мать посадила мальчика на санки и сказала: «Помаши дяде ручкой». Малыш засмеялся и весело помахал рукой. Иннокентий тоже помахал рукой, но душу сжало неприятно, тоскливо: «Своих-то детей, я наверно, не увижу?»

Иннокентий съёжился и быстро зашагал на своё рабочее место.

...Незаметно потекли его трудовые будни. Он старался работать добросовестно, чтобы по его вине не было простоев в бригаде. Дружбы с мужиками не получалось. Они относились к нему сдержанно, а сам он не навязывался. На перекуре, чтобы обогреться, шёл к тётке Клаве. Заваривал густой байховый чай в кружке, пил и с удовольствием разговаривал с женщиной.

В начале апреля бригада получила долгожданную квартальную премию. Так уж было заведено в бригаде, премию обмывали. Вот и в этот раз бригадир приказал Николаю к концу смены купить всё необходимое. На перерыве тётка Клава спросила у Иннокентия: «Тебе сказали, что после работы все остаются премию обмывать?»

– Сказали, но я не останусь. Я раз обмыл, на восемь лет закрыли. Всё – баста.

После работы рабочие собрались в бытовке. Бригадир обвёл всех взглядом и, не увидав Иннокентия, обратился к оператору: «Клава, а зэк где?»

Женщина сурово посмотрела Гавриле Ивановичу прямо в глаза и резко ответила: «Какой он тебе зэк? Чё ты всем ярлыки вешаешь?» Бригадир от неожиданности растерялся. Возразил тихо

– Ну а кто же он? В тюрьме ведь сидел.

– И что, что сидел? Пацаном по глупости попал. Вот такой же, как ты, напоил его.

Гаврила Иванович попятился перед напором разгорячённой женщины и будто пришибленный её вескими словами молча опустил на стул.

– Тётка Клава, а за что сидел-то он? – спросил Николай.

– Да ни за что!

– Ни за что не садят, – возразил сконфуженный бригадир, – раз ты всё знаешь, давай рассказывай.

– Рос он без отца и сразу по окончании школы пришёл работать на эстакаду, к нам в бригаду сортировщиком. В тот день мы работали во вторую. Закончили смену в час ночи, а бригадиру приспичило ночью премию обмывать. Кеша был совсем пацан, а ему наливали наравне со всеми. Напился он и пошёл домой, а идти надо было мимо магазина. Увидел, что в магазине свет горит, решил купить сигарет. Даже не сообразил что время третий час ночи. Зашёл, а там воры мешки набивают. Они сначала испугались, а потом видят, что мальчишка пьяный. Взяли ему ещё налили водки и спать в магазине уложили, а сами с товаром ушли. Утром продавец приходит: дверь взломана, вор на прилавке спит. Осудили его, дали шесть лет.

– А что, следствия не было? – спросил Николай.

– Да какое там! – махнула женщина рукой. – Ему полусонному надели наручники и увезли. Он ничего не помнит, в магазине кто был, не знает. А у матери денег не было хорошего адвоката нанять.

– Да... ну и дела! Правду говорят: не живи, как хочешь, а как бог даст, – сказал Гаврила Иванович, потёр руками, глядя на накрытый стол и громко добавил: – Ну, братцы, налетай. Водка стынет.

С этого дня отношение к Иннокентию заметно изменилось. Он почувствовал, как у мужиков исчезла настороженность к нему, натянутость отношений. И на работу теперь шёл с удовольствием. Здесь он был среди людей, а дома всегда один – это угнетало.

Он ходил со стягом по пешеходной дорожке транспортера, поглядывая на едущие брёвна. Внизу ходила контролёраша Маша, принимая сортименты. Измеряла торец бревна, ставила на нём диаметр, точковала карандашом в тетрадь.

Ласково пригревало весеннее солнышко. Закапала первая капель. Вот и в сердце Иннокентия тоже постучалась долгожданная весна. Он всё чаще стал поглядывать на Машу. «Да, хороша Маша, да не наша», – думалось с грустью.

Тетя Клава заметила интерес Иннокентия к Маше, при случае сказала:

– Жениться тебе надо, Кеша.

– На ком? Девки как увидят мои наколки, так врассыпную. Бабы нормальные замужем все, а алкашек терпеть не могу. Зашибу ненароком, опять закроют, – вздохнул Иннокентий, – уж лучше одному, чем с шалавой жить.

– А вон Маша, твоих годков женщина.

– Не замужем? – приятно удивился Иннокентий.

– Был... Сбежала она от него. Пил он сильно и бил её. Она всё ему оставила и приехала к матери с ребёнком. Девочка у неё хорошенькая, во второй класс ходит. Маша уже больше года у нас работает, ничего не скажешь: самостоятельная женщина.

– Да, нормальная бабёнка, – согласился Иннокентий и задумался. На следующей неделе у него день рождения, а это повод. Хотя он и не участвовал в гулянках, но тут как не остаться, сам именинник. Работать будут как раз во вторую смену, можно проводить. «Всё, замётано!» – решил он.

В день своего рождения Иннокентий закупил, что полагается, и в конце рабочего дня подошёл к бригадире: «Босс, у меня сегодня днюха, я закусон принёс».

– Чё у тебя? – не понял Гаврила Иванович.

– Днюха, ну это... день рождения, – пояснил Иннокентий.

– А... Тогда все в курилку, – приказал бригадир.

За столом, как и полагается, налили водки всем поровну.

– Не, мужики, я лучше чифирчику выпью, – отказался Иннокентий, – пока не тянет, лучше не привыкать. Как и снова к табаку – и так кашель задалбал.

Все выпили, налили ещё. Распив пару бутылок, мужчины пошли домой, а женщины принялись уби-

рать со стола. На правах именинника Иннокентий остался в помощь. Тетя Клава быстро сообразила, в чём тут дело.

– Что-то голова заболела, видно опять давление подскочило. Вы, ребята, я думаю, сами справитесь, – сказала она и ушла.

Убрав со стола посуду, Маша замкнула бытовку на навесной замок и, махнув на прощание рукой, отправилась домой. Иннокентий молча пошёл рядом. Машу удивила эта молчаливость, но ей было приятно, что рядом идёт сильный и красивый мужчина. У ворот своего дома Маша не торопилась зайти в ограду, но Иннокентий лишь кивнул головой и подался прочь.

На следующий день, в связи с поломкой транспорта, бригада отработала до девяти часов вечера. Пошли по домам. Иннокентий опять пошёл за Машей. Он явно нервничал, вдруг схватил женщину за руку и сказал: «Знаешь, мы не дети, забирай свои вещички и пошли ко мне жить». Маша остановилась и, глядя прямо в глаза Иннокентию, ответила: «У меня, кроме вещичек, дочь ещё есть».

– Да с дочерью, конечно.

– А как я скажу матери? – нерешительно спросила она.

– А я сам скажу! – ответил Иннокентий и без стука вошёл в дом.

Мать, увидав Машу с мужчиной, замерла посреди кухни.

– Здравсте! – громко поздоровался Иннокентий и без передыху выпалил:

– Мы вот за вещичками пришли и за дочерью. Маша ко мне переезжает.

– Что? – выпучила глаза пожилая женщина. – За какой дочерью? Иди отсюда, пока глаза твои бесстыжие не выцарапала!

– Ма-ма!! – завопила Маша.

– Что «мама»?! – уже визжала женщина. – Мало тебя муж дубасил? Ума-то, видно, не прибавилось! Свою жизнь не жалеешь, так дитё пожалей. У тебя дочь, а он зэк. Куда ты лезешь?

У Иннокентия всё внутри похолодело, будто на него вылили ведро ледяной воды. Он резко пнул дверь и вышел на крыльцо. Быстро достал сигарету, закурил. Из дома были слышны слова Маши: «Мама, да он хороший человек».

– Хорошие в тюрьме не сидят! – орала мать.

– Так! Значит, рылом не вышел, а я-то, дурак, размечтался, – сказал Иннокентий со злостью и пошёл домой. На душе было противно. Вдруг он услышал голос Маши: «Кеша, подожди».

Остановился и не поверил своим глазам: Маша бежала к нему.

Запыхавшись, проговорила:

– Кеша, я к тебе! А Катюшу мать не отдала.

– А мы её завтра из школы заберём и – кранты, – улыбаясь, ответил Иннокентий и обнял Машу.

Как было решено, на следующий день Маша пошла в школу к концу занятий и привела Катюшу в дом Иннокентия. Бабка, не дождавись внучки из школы и поняв, где она есть, прибежала к Инноке-

тию. И сразу с порога начала поливать Машу самыми последними словами. Иннокентий подошёл к женщине вплотную.

– Ты хайло-то закрой! Не у себя дома, – сказал он, открыл дверь и вытолкнул гостью.

Но отчаянная женщина стала ежедневно ходить к Иннокентию в дом. Не скандалила, но, переживая за дочь и внучку, готова была в любой момент вцепиться в «зятя».

А у Маши и Иннокентия сразу как-то всё сложилось. Словно жили они вместе уже не один год. Маша похорошела и стала звонко смеяться. Мать поняла, что дочь её счастлива, и страсти её потихоньку улеглись. Привыкла к острым словечкам «зятя» и даже стала его уважать за хозяйскую хватку. За что бы ни взялся Иннокентий, всё делал на совесть. Даже стал вечерами чинить и подбивать обувь. Сапожно-му делу он научился на «зоне». Работу выполнял быстро и недорого, и вскоре вся деревня стала носить обувь для починки к нему. Деньги, как нельзя, кстати, пополняли скромный семейный бюджет: на работе стали задерживать зарплату, а выдачу аванса вообще прекратили, – добралась перестройка и до их небольшой деревушки. Леспромхоз, который кормил людей без малого сорок лет, закрыли. На базе его создали акционерное общество. Люди, казалось, выполняют прежнюю работу, ведь фактически ничего не изменилось, кроме названия предприятия, а стали получать меньше. Сначала убрали двадцать процентов районного коэффициента, затем оплату за выслугу лет, потом «тринадцатую зарплату». Обещали в конце года рабочим выплатить «дивиденды на выкупленные акции», но при условии получения прибыли. Только прибыли предприятие не получило, зарплата стала невысокой, а цены в магазине росли как на дрожжах.

Но Иннокентия эти мелочи жизни, так он их называл, не очень-то огорчали. Он считал: руки есть, прожить можно.

Но беда подкралась неожиданно. Утонул брат, единственный ему кровный человек. Осталось у брата три девочки, все погодки, старшей всего пять. Иннокентий помогал Лизе, жене брата, чем мог. Выполнял всю мужскую работу по дому; дрова колот, воду возил, денег давал. Вскоре стал замечать, что Лиза стала изрядно выпивать. Иннокентий попытался её образумить. Пытался ей доказать, что со смертью мужа жизнь не кончилась, хотя и стала безрадостной.

– У тебя дети, их надо вырастить и определить, – говорил он. Лиза слушала молча, уставив безжизненный взгляд куда-то в сторону, а к вечеру опять напивалась. Однажды Иннокентий застал у Лизы двух пьяных мужиков. Всё внутри закипело, но, взяв себя в руки, не сказал ей ни слова. Собрал детей и увёл их к себе домой.

– Всё! Баба сошла с рельсов, теперь не удержать. Ей теперь не до детей, надо их забирать, – заявил он.

Утром пошёл в сельсовет. Но там доходчиво объяснили, что если женщина не лишена родительских

прав, не может он забрать детей себе, тем более, что по документам холостой. Намекнули и на то, что у него и прошлое не совсем чистое.

– Детей придётся вернуть, – сказал председатель. – Если Лизка обратится в милицию с заявлением, что ты украл детей, тебя посадят.

Расстроенный Иннокентий вернулся домой.

– Прибежала Лиза, орала тут всякую чушь и забрала детей. Хорошо, хоть тебя дома не было, разодрались бы. Я и то с ней переругалась, – сообщила расстроенная Маша.

Иннокентий тяжело вздохнул, сел на стул и внимательно посмотрел на жену.

– Маша, давай регистрируемся.

Женщина от неожиданности широко раскрыла глаза.

– Я тебе про детей, а ты про что?

– И я про то же, – тихо ответил Иннокентий. – Понимаешь, без этой бумажки я – букашка с тёмным прошлым. Девочек мне не отдадут, а это дети брата. Это теперь мои дети, ты понимаешь!

– Ясно. Решил с Лизой бороться?

– Да чё с ней бороться? Если баба сорвалась, кранты ей, это дело времени. Дети при разгульной жизни – обуза, – махнул рукой Иннокентий.

Маша впервые видела его таким рассудительным и решительным. Заметив пристальный взгляд жены, он спросил:

– Ну, чё скажешь, Маша? Или боишься такое ярмо на шею вешать? Только знай, детей я не брошу.

Маша улыбаясь, подошла, обняла его голову, прижала к себе.

– А я тебя не брошу.

На следующий день подали заявление в загс. Но долгожданный штамп в паспорте, что он семейный человек, Иннокентий получил только через месяц. В бригаде узнали о регистрации, решили поздравить молодожёнов. Как было заведено, все собрались после работы в бытовке, выпили, потом подались по домам. Ещё и не разошлись, как увидели: по дороге, шатаясь из стороны в сторону, шла пьяная Лизка. Иннокентий отвернулся, с ненавистью плюнув на землю. Николай тоже увидел Лизку и громко сказал:

– Как эту гадину земля носит? Надо же, ребёнка за сапоги продала!

Иннокентий побелел, подскочил к Николаю, обеими руками схватил его за грудки и заорал:

– Ты чё мелешь, шестёрка?!

– Гаврила Иванович, скажи ему! – завопил Николай.

Бригадир подошёл к Иннокентию, положил ему руку на плечо.

– Правда это, Иннокентий... Уже все об этом знают. Мы только не знали, как тебе сказать.

Иннокентий в два прыжка оказался возле Лизки.

– Это правда, что ты ребёнка за сапоги продала?

Пьяная женщина выпрямилась и с гордостью отставила в сторону ногу.

– Смотри, какие красивые! Меховые! Я сроду таких не носила, за младшую выменяла.

Иннокентий одним ударом повалил женщину на землю, машинально сорвал у неё с ноги сапог и со всех сил стал бить им Лизку по лицу. Рассвирепевший Иннокентий забил бы её до смерти, но подбежали мужики, схватили его за руки и оттащили от женщины. Она поднялась, кое-как напялила сапог и, шмыгая разбитым носом, заорала:

– Всё зэк, отгулял ты на воле! Я тебя посажу!

– Стерва, кому ты ребёнка продала?! – прорычал Иннокентий.

– Документов не спрашивала, в Хилок увезли, – с вызовом ответила Лизка, утираясь рукавом. Кровь бежала с лица на куртку и на новенькие чёрные сапоги.

– А где Оля и Ксюша?

– Дома, под замком сидят, – промямлила разбитыми губами женщина и, пошатываясь, пошла в другую от дома сторону, крикнув издаля: – И ты сядешь!

Иннокентий поспешил забрать девочек, привёл их к теще, решив, что здесь они в безопасности.

Утром поехал в Хилок, искать ребёнка. Хотя городок небольшой, но всё-таки районный центр и так сразу найти человека нелегко. Обошёл все инстанции, кто хоть как-то мог помочь разыскать ребёнка. Подал заявление на розыск, на лишение материнских прав горе-матери, на усыновление Оли и Ксюши. Проматываясь целый день, но ничего конкретного не узнав о ребёнке, Иннокентий вернулся домой. Снял верхнюю одежду и упал на кровать, раздражённо уставившись в потолок. Маша подошла и села рядом.

– Кеша, не переживай ты так, может, найдётся ещё.

– Едва ли... Если они вот так, без документов, взяли ребёнка, значит, надеются сделать его своим? Значит, есть связи, и люди это состоятельные. Запутают следы... И стерве этой наверняка наврали, что из Хилка... А я-то... Вот я придурок! Ведь видел, к чему дело идёт, и не забрал детей. Начитался на «зоне» Уголовного кодекса... хотел, чтоб всё по закону... А они вот обошли закон, купили и – всё!

Иннокентий резко встал с кровати и быстро стал ходить по комнате.

– Кеша, да успокойся ты, – посоветовала Маша.

– Как успокойся? Ведь это не котёнок, выбросил и всё, а ребёнок! Ты понимаешь – моя кровь! – крикнул Иннокентий и ударил кулаком по тумбочке. – Порвать бы эту тварь на куски, да дети совсем сиротами остаются!

Маша поняла, что лучше сейчас его оставить одного и потихоньку вышла из комнаты. Иннокентий ещё долго ходил по комнате из угла в угол, закинув руки за спину. Ночью ему не спалось, и только под утро сморил сон.

Но будильник сработал как положено. Иннокентий быстро встал, напился чаю и пошёл на работу. В бытовке мужики играли в домино и весело смеялись. Иннокентий поздоровался, сел в дальний угол, голова сильно шумела, и он закрыл глаза.

Вдруг он услышал незнакомый голос. Открыв глаза, увидел на пороге участкового милиционера. «За

мною!» – догадался он. Сердце заколотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди. Иннокентий укусил до боли нижнюю губу, чтобы совладать с собою.

Милиционер, внимательно посмотрев на Иннокентия, прошёл к столу, сел и раскрыл чёрную папку.

– Так... Поступило заявление от Горбатовой Елизаветы, что её избили на глазах всей бригады. Кто первый будет давать показания? – спокойно спросил он.

Гаврила Иванович встал, невинным взглядом посмотрел на милиционера и сказал:

– Никакой Лизы мы и в глаза не видели.

– Как не видели? Она пишет, что вы её отняли от убийцы. Вот и справка о побоях имеется! – возмутился участковый.

Гаврила Иванович обратился к членам бригады:

– Мужики, вы кого-нибудь у кого-нибудь отнимали?

Рабочие промолчали.

– Ну, вот видите, лжёт ваша Лиза. Её, наверно, очередной любовник побил, или сама пьяная куда свалилась.

– Да вы что, мужики? Я уже и «воронок» с района вызвал! – взмолился милиционер.

– А вот в этот «воронок» вы её и посадите, за ложные показания, – ответил бригадир и ткнул пальцем в чёрную папку, лежащую перед участковым. Потом вышел из-за стола и скомандовал: «Пошли, мужики, пора работать!»

Рабочие встали и пошли за бригадиром. Иннокентий, как всегда, шёл последним. На душе стало спокойно и легко. Он зашёл на транспортёр, встал на своё рабочее место и глубоко вдохнул свежий воздух. На перерыве, как обычно, зашёл в операторную, к тёте Клавье.

Женщина с сочувствием посмотрела на парня.

– Замучался ты, Кеша, весь издёргался, но теперь девочки твои. Лизка-то уехала с каким-то шофёром.

– Кто тебе сказал?

– Я в больницу ходила за рецептом. Там соседка её рассказывала, что Лизка собрала вещи, села к халю в машину и укатила.

– Баба с возу, кобыле легче, – сказал он, улыбнувшись, и пошёл на транспортёр.

После работы зашёл к теще, забрал девочек, привёл домой. Увидав мужа, Маша с тревогой заглянула в лицо:

– Кеша, тут участковый тебя поутру спрашивал. Что случилось?

– Всё ништяк, Маша, не волнуйся, уже разобрались во всём. Дай-ка ты лучше нам пожрать, – ответил Иннокентий, снимая курточку с Ксюши.

Маша укоризненно посмотрела на мужа.

– Кеша, ты уже бросай свой жаргончик! Ты теперь отец троих детей. Они же моментом всё схватят. В садик поведём – со стыда сгорить.

Иннокентий взял на руки обеих девочек, прижал их к себе и засмеялся:

– У-у, какая у нас мамка строгая! Но – хорошая! Будем слушаться.

ЗАГОВОРЁННЫЙ



Владимир ГАГАРКИН,

после окончания филологического факультета Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического факультета им. Н.Г.Чернышевского вернулся в родной город Балей – центр золотодобычи в Забайкалье. Со школьных лет занимается литературным творчеством. Пишет короткую прозу и стихи. Отдельными книгами пока его произведения не выходили, печатался в СМИ, ряд рассказов и поэтических подборок увидели свет на страницах литературно-художественного журнала «Слово Забайкалья». Отмечен на семинаре молодых авторов, который проходил в рамках ежегодного традиционного литературного праздника «Забайкальская осень» в 2011 году.

Сплетённые в объятиях тела замерли в тени одной из каменных колонн, подпиравших арочный свод узкого потайного коридора замка Кесара. Только кроваво-красные пляшущие блики пламени свечей в настенных пазах, украшенных орнаментом, выдавали присутствие в этом укромном уголке двух страстных любовников. Женщиной оказалась не кто иная, как престолонаследная дочь императора Вилиана, восемнадцатилетняя Лиз. Её руки обвивали шею и утопали в густых спутанных волосах рослого воина, лицо которого было испещрено многочисленными шрамами. Даже в тусклом свете свечей это было заметно. Осторожно обнимая хрупкий стан Лиз, он нежно смотрел из-под рассечённых рубцами бровей в чёрные влажные глаза девушки. Его имя было Бальтер, но среди простого люда и придворных города-крепости Кесар он был известен под прозвищем Заговорённый.

Не в силах сдерживать обуревающую его страсть, он крепче притянул к себе Лиз и впился в её нежные губы жарким поцелуем. Девушка подалась вперёд, всецело подчиняясь нахлынувшему желанию, но, внезапно, Бальтер мягко отстранил от себя её упругое тело, тяжело дыша и опустив глаза.

– Прости, государыня, пора мне. Батюшка ваш гневаться будет. Не место подневольному в императорских покоях в такое время...

– Ты не в императорских покоях!..

– Скоро ворота замка будут запираются, стража на посты встанет, искать меня начнут... В измене ещё чего доброго заподозрят, за шпиона примут!.. Не сносить тогда головы...

– Бальтер, стой!.. – схватила его за руку Лиз.

– Государыня, пора мне, – осторожно освободил своё запястье Заговорённый и отступил назад, – не за себя, за честь вашу и доброе имя боюсь!.. До встречи, моя императрица!.. Успеть бы до пересменка...

Широкоплечая фигура Бальтера на миг замерла на месте, словно колеблясь, затем отступила ещё на шаг и растаяла во мраке коридора. Его мягкие крадущиеся шаги тотчас же растворились в тишине окрестных переходов и хитросплетениях туннелей.

Узкий арочный коридор, выбранный любовниками местом для недолгих встреч, был совсем недалеко от центральных ворот замка, но хитроумный лабиринт надёжно запутывал и скрывал тайну. Сам Бальтер сумел выучить дорогу к этому месту и передвигаться к нему без сопровождения Лиз только спустя неделю. А девушка отлично знала почти весь замок и каждый хитроумный закуток лабиринта. Это являлось привилегией императорской семьи.

Лабиринт коридоров был задуман древними архитекторами с единственной целью: обезопасить императора и его приближённых от вторжения хитроумных лазутчиков иноземных княжеств. Отыскать в этом хитросплетении коридоров и переходов путь к императорским покоям было просто невозможно, ловушки и западни подстерегали на каждом шагу. Даже самые приближённые Вилиана и его предков не все знали тайный маршрут в его покои. Этот пусть нелепый, зато действенный способ охраны императорской особы переходил из поколения в поколение. Строг был и порядок допуска в за-

мок. Только именитые дворянские фамилии и военные высших званий имели право на редкие посещения императорского замка. Чести этой наряду с прочими был удостоен и Бальтер.

Лабиринт занимал среднюю часть замка, в башнях располагались императорские покои, казначейство и прочие важные секретные комнаты, а нижняя же часть представляла собой немногочисленные, но просторные залы для приёма подношений и знатных гостей. Регулярно, по вечерам в этих залах кипела светская жизнь знати города, опьянённой лучшим вином из погребов Вилиана и развращённой придворными куртизанками. Иногда и сам император присутствовал на этих роскошных и вычурных приёмах, но всегда в сопровождении вооружённой охраны. Однажды во время одного из таких пиршеств на Вилиана было совершено покушение. Наёмного убийцу, направленного богатеем из южной провинции Ксендза, убили на месте. Но после этого случая император стал ещё осторожнее и ещё реже появлялся на публике. Как мог, Вилиан опекал и свою единственную дочь Лиз.

Покушение приёмы не отменило. Так же гремела музыка, кружились пары, хохот и пьяная брань не утихали до самого позднего часа, когда гостей прогоняли вон и запирали ворота замка на ночь. Бальтер чувствовал себя чужаком на этих сборищах городских богатеев. Ему, простому солдату, было чудовищно неуютно среди этих жирных бестолковых лентяев. Но это была возможность увидеть возлюбленную. Каждый раз, скрываясь с Лиз в каком-либо потаённом коридоре от вездесущих любопытных глаз, они были на пике счастья. Бесконечные разговоры, объятия и поцелуи кружили молодым людям головы, погружали в мир чувственности и любви, наслаждения касаться и видеть друг друга. Вечер за вечером!.. В эти минуты всё вокруг исчезало и таяло, во всей Вселенной продолжали стучать только два сердца. И только в унисон!.. Бальтер надёжно хранил свой секрет, не давая окружению ни малейшего повода заподозрить его в отношениях с наследницей престола. Так продолжалось уже довольно много времени. Страсть вспыхнула между ними в тот же день, когда они увидели друг друга впервые... День, когда нещадное солнце палило плечи и спину несчастного беглого узника, тяжело бредущего в стальных колодках по пыльной дороге, прямоком навстречу мчащемуся экипажу императорской дочери...

...Возница неистово натянул поводья, и экипаж, резко подпрыгнув на ухабине, остановился прямо перед лицом израненного путника. Облако пыли из-под конских копыт поднялось высоко над головами и ненадолго скрыло одинокую ссутулившуюся фигуру каторжника. Эскорт, состоявший из шести хорошо вооружённых всадников, уже держал оборванца под остриями пик и ждал распоряжений владельца экипажа.

– Куда прёшь, бездельник! – заорал грубым басом возница, щёлкая перед носом оборванца кнутом.

– Куда тебя черти под колёса несут, висельник!.. Ну-ка, прочь с дороги!..

Острия пик легонько дёрнулись, заставляя незнакомца отступить. Поймав на себе его угрюмый взгляд, возница невольно осёкся и перестал размахивать кнутом. По холодному пристальному взору он распознал в нищем бывалого воина, прошедшего не одну кровавую битву. Незнакомец был худ и измождён, но довольно высок и широкоплеч. На лице рубцами отмечены бывшие раны, узловатые мускулистые руки выглядели не лучше.

– Ну!.. – один из всадников ещё более настойчиво ткнул странника в грудь остриём копья, на что тот отступил на шаг, но одарил обидчика прожигающим до костей яростным взглядом.

– Что там?.. – раздался из экипажа взволнованный девичий голосок, и прелестное личико выглянуло из занавешенного тюлем окна экипажа. Глаза их встретились...

– Госпожа! Оставайтесь внутри!.. – немедленно отреагировал на это один из всадников, устремляясь к оконцу, – здесь небезопасно!.. Повсюду кельруты!.. Через секунду мы освободим дорогу и продолжим наш путь в Кесар, моя госпожа!..

Заворожённая глазами незнакомца, Лиз не издавала ни звука, лишь рассеянно кивнула в ответ.

– Ну, пошёл с дороги, тебе говорят! – соскакивая с лошади и бесцеремонно толкая оборванца в грудь, рявкнул самый нетерпеливый из охраны. Путник упал навзничь, обращая удивлённое лицо на воина. Медленно поднимаясь на ноги, он беззвучно хватал воздух ртом и тянул измождённые, но сильные руки по направлению к лошадям, словно желая удержать экипаж на месте. Он порывался что-то сказать. Из его мычания уже можно было вычленить отдельные слова.

– ...Н-н-не н-надо, го-г-госп-пожа!.. Вса-са-садник-ки... Кель-кельрутский Ор-р-ден н-на д-до-р-роге!..

– Стойте! – крикнул встревоженный всадник своим подчинённым, оттаскивающим оборванца к обочине дороги. – Кельрутский Орден?! Ты говоришь о всадниках, убогий?!.

Нищий обессиленно кивнул головой.

– Сэр Мивс, в своём ли вы уме слушать безумного?! – возмущённо заголосил возница. – Я вам кровью своей клянусь, что объездная дорога пуста!.. Путь к осаждённому замку по тайной тропе!.. О ней же не знает никто! Откуда там быть кельрутам?! Нужно скорей ехать!.. Уж если они поблизости, то наверняка не спереди, а сзади!..

– Замолчи! – осадил его главный, по всей видимости, всадник. – Больно голосист ты стал да суетлив, старый хрыч.

Оборванца подвели к слезшему с лошади сэру Мивсу, который испытующе уставился в изувечное шрамами лицо незнакомца.

– Ты видел их? Видел кельрутских всадников впереди на дороге?!

Утвердительный кивок.

– Ты был у них в плену?..

То же самое.

– Сбежал?! – С оттенком недоверия, но в ответ всё тот же кивок головы.

– В таком случае, покажи мне клеймо, которым кельруты клеймят своих невольников, если ты не лжёшь!.. – в голосе Мивса послышались железные нотки.

Один из охранников грубо задрал правый рукав грязной невольничьей рубахи, и рука начальника эскорта легла на рукоять ятагана – кроме шрамов на коже не было ничего. Но на левом плече, которое обнажилось чуть позже, явственно проступало не самое свежее, зато отчётливое клеймо в виде головы буйвола. Мивс немного расслабился, уголок его губ тронула удовлетворённая улыбка. Похоже, путник не лгал.

– Как твоё имя?

– Б-б-бальт-тер, с-сэр, – с трудом ворочая языком, но выправляя плечи в соответствии с военным уставом ответил беглец, – п-п-пленён в б-бою на Р-р-рейбе...

– А, так ты пакинец? Наёмник?

Утвердительный кивок.

– На стороне паков? Как долго?

Оборванец закусил губу и вытянул руку с тремя растопыренными пальцами.

– Три года? Ага...

– Сэр, – тревожно прогудел возница, – пора ехать, торопиться надо. Не верю я ему. За корку хлеба ещё не такое наплетут, побирушки проклятые! А если и есть? Уж мы-то да не проскочим!..

– Через всадников?! – прищурился Мивс, поглаживая облачённой в жёсткую перчатку для верховой езды рукой аккуратную бородку. – Тут вопрос в другом. Если устроена засада, то как о нашем маршруте узнали кельруты? Сам говоришь, тропа тайная. Больше подходов к Кесару нет, вот в чём беда!.. У лицевой стены осаждающие войска, проход в трещине скалы был нашим единственным шансом...

Возница пожал плечами.

– Долго был у них в плену? – обернувшись к беглецу, спросил Мивс.

В ответ он получил утвердительный кивок и два вытянутых пальца.

– Месяца? Недели?.. Видел там кого? – равнодушно поинтересовался начальник эскорта и изумлённо замер, когда в ответ на его вопрос Бальтер кивнул и ткнул грязным пальцем куда-то ему за спину.

– Е-е-ег-го!..

Свист кнута, крик боли и отчаянный клич возницы уже через секунду вывели Мивса из оцепенения. Он стремительно обернулся, как раз, чтобы увидеть, как экипаж резко трогается с места, понукаемый предателем-возницей, падает из седла один из его охранников с кинжалом в горле, ещё двое падают под попытку лошадей...

– Стой!.. – заорал Мивс вслед экипажу, взлетая на скакуна. Ещё двое невинных охранников рванули следом. За ними с небольшим отставанием поскакал конь одного из погибших солдат, неся на своей спине

бледного Бальтера, судорожно вцепившегося в гриву...

...Бальтер часто вспоминал тот день. Вот и сейчас, погрузившись в воспоминания, он бесшумно двигался по переходам замка, практически на ощупь. У выхода из коридора в просторную залу как из-под земли выросла рослая, закованная в латы фигура с факелом.

– Сегодня ты задержался с обходом, – буркнул императорский стражник, высвечивая огнём лицо Бальтера из сумрака. – Время закрывать ворота. Тебе пора покинуть замок.

– Не доверяешь мне?! – фыркнул Заговорённый. – Разве я позволил хоть раз усомниться императору в своей верности?..

– Ты ополченец. А черни не место в коридорах императорского замка. Это тебе не ночлежка!.. Хотя... Сомневаться в твоих заслугах не в моём праве... Единцам разрешён доступ в замок. Только самым верным. Тебе оказано это доверие. Ты как раз такой...

Впереди уже замаячил проблеск света просторного гостевого зала, когда внезапно насторожившийся Бальтер остановил стражника за плечо.

– Тише, слышишь?.. – процедил сквозь сжатые зубы Заговорённый, нащупывая на поясе рукоять ятагана. Чёрт!.. Дотошные императорские привратники отобрали всё его оружие ещё при входе в ворота замка.

Торопливые сбивчивые шаги доносились из мрака бокового коридора, откуда только что вышли эти двое. Их кто-то преследовал. Страж бесшумно вытащил из кожаных ножен кинжал и замер как изваяние, слившись с шероховатой стеной. Шаги были уже совсем близко. Страж выкинул вперёд руку с факелом, и пламя выхватило из мрака тонкую фигуру их преследователя...

– Что вы делаете здесь, госпожа Лиз? – недовольно, но почтительно пробурчал стражник с заметным облегчением, опуская вниз факел. Бальтер с удивлением и тревогой взглянул в глаза запыхавшейся девушке.

– Сэр Бальтер... Вы здесь?.. Как это хорошо, мне нужно сказать вам одну очень важную вещь, – выдохнула, изображая на лице сухую маску безразличности, Лиз.

Заговорённый шагнул ей навстречу, склонил голову и остановился на почтительном расстоянии. Страж неловко отвернулся и, скрипя доспехами и прихрамывая, пошёл прочь к гостевой зале. На минуту воцарилось неловкое молчание. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру стражника, Лиз скользнула к Бальтеру, коснувшись его груди холодными руками:

– Сегодня ровно в полночь... У стен замка под Мёртвым вязом!.. Я буду ждать!

Одарив его страстным мгновенным поцелуем, Лиз скрылась во мраке. Бальтер нахмурился. Ввязываться в сомнительную авантюру и подвергаться опасности быть раскрытыми ради нескольких минут встречи? Как это необдуманно и легкомысленно! Но серд-

це подсказывало суровому воинскому разуму, что не явиться на ночное свидание – значит глубоко ранить нежное чувственное сердце Лиз.

Бальтер вышел в опустевший гостевой зал. Проходящий его стражник нетерпеливо теребил усы: ворота уже готовы были запереть. Задумчивый Бальтер рассеянно получил на посту у ворот замка своё оружие и медленно побрёл по мощёной камнем улице по направлению к постоялому двору. До полуночи ещё много времени, можно чуть вздремнуть. Улицы крепости уже заметно опустели, сумрачный вечер плавно перерастал в лунную ночь.

Заговорённый услышал окрик и оглянулся. Его догонял усатый стражник замка Кесара. По всей видимости, он возвращался в казармы с пересменка и ему было по пути. Иными словами, стражнику хотелось хоть с кем-нибудь поболтать. Бальтер равнодушно остановился, дождался попутчика и молчаливо продолжил свою прогулку.

– Ф-фух-ты! – Стражник тяжело дышал, стараясь поспевать в ногу. – Едва догнал тебя, ополченец. Куда путь держишь? Небось, к поклоннице или в кабак?

Бальтер неохотно кивнул, говорить ему не хотелось.

– В кабак? О, так я составлю тебе компанию! – Обрадовался страж. – Расскажешь мне пару историй, выпьем грога, почешем языки...

Заговорённый промолчал.

– Новых шрамов не приобрёл? – стражнику было немного досадно, что с ним не желают вступать в диалог. – Нет? Ну, так это ничего. В скором времени с кельрутами опять война будет, насколько я слышан. А там и битвы не за горами...

Бальтер только хмыкнул.

– Не веришь?! А, ну как же! Перемирие-то ведь князь Кельрутский не из миролюбия заключил. Для отвода глаз. Неужто не слышал? Да ну! Силы пока собирает, да бдительность усыпить желает. А главное, – голос стражника упал почти до шёпота, – разделаться он с императором желает по-тихому, без войны. Слухи ходят, что нанял убийцу, коему равных по силе и изворотливости нет! Володьяр его имя!..

– Володьяр... Сакритский Палач, – нахмурился Бальтер. – Видал я его только раз, а вот слышан достаточно...

– Да ну!.. Вот дела!..

– Только слухи это всё, – сухо закончил Заговорённый, разочаровав болтливого сплетника, – не мог его Кельрутский князь на такое дело нанять...

– Почему это?

– Кровники они... Да и потом, Володьяр давно мёртв... Погиб в битве под Рейбом. Его захватили в плен на моих глазах. Да что там!.. Вместе со мной... Я тоже участвовал в этой битве. Мы бились на стороне Паков... Там-то я и видел его единственный раз. Его казнили сразу же. Жестоко пытали и казнили. Резали по кусочкам... Не на моих глазах, но все об этом знали и говорили...

Какое-то время собеседники шли молча. Стражник переваривал услышанное и теребил пышные усы. Бальтер же погрузился в свои невесёлые воспоминания и шагал нахмурившись. Прошлое опять нахлынуло на него чередой картин и эпизодов.

– А... всё время хотел тебя спросить, – нарушил молчание любопытный страж, – как же тебе удалось живым выкарабкаться из той передраги, когда ты спас госпожу Лиз? Даже матёрый волк Мивс вскоре помер от полученных ран...

– А ты не знаешь? – фыркнул Бальтер, прекрасно осведомлённый, что на эту тему сплетниками создана целая героическая легенда. Именно благодаря той истории он и получил такое необычное прозвище. Не сразу, но Заговорённым его впервые назвали именно тогда.

– Разное люди болтают, а как было на самом деле-то? – всё допытывался усатый страж.

– Да уж, напридумывали кучу. Слышал... Всё было гораздо проще...

...Настигнуть экипаж удалось не сразу. Мивс и двое его людей нагнали экипаж первыми. И тут же одному из всадников возница ловко захлестнул горло кнутом, сбросил его с лошади, взревел и выхватил ржавый зазубренный тесак, угрожающе оскалившись на преследователей.

– Стой, собака! – Мивс низко прижался к шее своего скакуна и подался вперёд, намереваясь перепрыгнуть на козлы повозки. Лейтенант немного приотстал. Зато топот лошади Бальтера заметно приближался. Возница зашипел и наотмашь полоснул тесаком. Широкая прореха на рукаве всадника медленно начала промокать кровью.

Бальтер, стремительно нагоняя экипаж, видел, как лейтенант Мивс начал немного отставать, для того, чтобы обойти повозку с другой стороны. Всадники собирались взять экипаж «в клещи». Задумано было недурно, но возница это предвидел. Застать его врасплох не удалось. Почувствовав, что его начинают обходить с другой стороны, он неистово дёрнул поводья, и экипаж рвануло в сторону. Лошадь лейтенанта налетела грудью на распахнувшуюся дверцу экипажа, и всадник был выброшен из седла. Возница довольно хрюкнул, оглянувшись на ещё одного поверженного. Этим секундным замешательством и воспользовался Мивс для своего решающего прыжка. Взмахнув пропитанным кровью рукавом словно крылом, он стремительно перелетел на козлы, напрямик на управляющего экипажем предателя.

Бальтер уже скакал рядом с экипажем и до мельчайших подробностей видел все моменты схватки. Повозку кидало из стороны в сторону, обойти её с какой-либо стороны было просто невозможно. В распахнутую дверцу экипажа Бальтер видел испуганную, сжавшуюся девушку в роскошном платье. Слёзы страха ручьями заливали её лицо. Увидев всадника, она отпрянула и ещё глубже забилась в другой угол кибитки. Повозку снова дёрнуло, и Бальтер был вынужден придержать коня, чтобы не быть отброшен-

ным с дороги. С козел коротко вскрикнул Мивс, очевидно, вознице удалось ещё раз зацепить его тесаком. Разгорячённые лошади были почти неуправляемы. Экипаж должен был неминуемо слететь с дороги рано или поздно.

– Го-гос-по-жа! – Голос Бальтера едва заметно дрожал. – Нуж-жно пр-прыгать!.. П-п-прош-шу в-вас!.. Ск-к-орей ж-же!..

Бальтер оглянулся: их догонял один из солдат. Очевидно, падение с лошади закончилось для него лишь незначительным ушибом. Помощь была весьма кстати. На козлах продолжалась борьба, которая не затихала, а только ужесточалась. А впереди их ещё ждала западня: полсотни отменных кельрутских всадников... Счёт шёл уже на секунды.

– Г-гос-пож-жа!.. Ну же!..

Повозку подбросило на ухабе. Девушка стала тихонько пробираться к распахнутой дверце, цепляясь тонкими белыми пальцами за спинку сиденья.

– Н-ну же!.. – рука Бальтера была вытянута навстречу девушке. Он готов был в любой момент подхватить прыгающую из экипажа незнакомку. Опять встряска на ухабине!.. Но, похоже, девушка всё же решилась...

Крики с козел и треск ломающихся сучьев – экипаж слетел с тропы и таранил кусты, – слились в единый звук, приуроченный к отчаянному прыжку девушки в объятия Бальтера. Ещё секунда промедления – и было бы уже поздно. Лиз крепко вцепилась в рваные лохмотья своего спасителя, натягивающего узду скакуна...

Лошади экипажа остановились и храпели в невысокой чащобе, кибитка завалилась на бок, крутились колёса. Стонавший Мивс лежал недалеко от экипажа у трухлявого пня. Возницы и след простыл. Лиз отрешённо смотрела в одну точку, намертво вцепившись в лохмотья сидевшего на коне Бальтера...

– Надо возвращаться! – сплёвывая кровь из разбитого рта, решительно проговорил Мивс и попытался подняться на ноги. – Подлец предупредит кельрутов. Дорога закрыта!..

– Я думаю, дороги назад у нас уже тоже нет, – помогая ему встать, горестно констатировал факты лейтенант, – по нашему следу наверняка пущены кельрутские ищейки..

– В западне! – искалеченный Мивс бессильно заскрежетал зубами. – Надо прорываться к Кесару!

– С-сэр, е-есть и-и идея, – подал голос Бальтер. – Н-над-до п-под-нять п-п-пов-возку...

Лейтенант и Мивс удивлённо переглянулись. Расцарапанное сучьями лицо начальника эскорта выражало недоверие и удивление, лейтенант же всего-на-всего ждал от него приказа. Пауза затянулась.

– Чего встал?! Выводи лошадей под уздцы, распрягай! – Мивс раздражённо прикрикнул на подчинённого. – Слышал, экипаж надо на дорогу выкатить!

С большим трудом трое мужчин выкатили пробитую в нескольких местах сучьями повозку на дорогу. Одна из осей крепко треснула, но, в целом, экипаж оказался на ходу. Мивс не задавал Бальтеру лишних

вопросов, полагая, что тот отдаёт себе отчёт в действиях. Он не удержался только тогда, когда странный оборванец начал впрягать лошадей назад в экипаж.

– Что ты задумал?

Бальтер едва заметно улыбнулся и развёл руками...

...Начальник Кельрутского Отряда Перехватчиков нервничал: повозка всё не появлялась на обложенной кордоном тропе, сообщник, заманивший жертв в ловушку, опаздывал. Сэр Лидинг был уже готов отправить им навстречу разведывательный дозор, когда ожидаемый экипаж с грохотом появился на горизонте. Лидинг довольно усмехнулся. Однако, вместо того, чтобы остановиться в положенном месте, возница только подстегнул лошадей, направляя повозку на преграждающих тропу всадников.

– Э-эй, мерзавец, сто-ой!.. Ты чего?! – кельруты едва успели отскочить с тропы на обочины, прямо перед грохочущим и подпрыгивающим экипажем. – Стой, говорят!..

С перекошенным от гнева лицом, сэр Лидинг оттолбенело глотал поднятую столбом пыль и хлопал глазами. Его всадники выглядели ничуть не лучше. Такой наглый ход поверг кельрутов в настоящий шок.

– За ними! Вперёд! – Лидинг пришёл в себя, птицей взлетел в седло и бешено заревел солдатам:

– Догнать! Всех изрубить, кроме девчонки!

Кельрутский отряд устремился вслед за отчаянно прорвавшейся повозкой, не задаваясь вопросом, отчего, кроме возницы на козлах, рядом нет ни одного солдата из эскорта. И там ли главный предмет их интересов.

...В пелене оседающей пыли, осторожно ступая и ведя на поводу лошадь с сидящей на ней девушкой, появился силуэт рослого человека. Мивс осторожно огляделся кругом и негромко проговорил сидящей верхом Лиз:

– Лес подходит к самой тропе, увести с неё глубоко в чащу у Бальтера и Кристана не получится. Мы должны успеть проскочить...

Лиз кротко кивнула. Мивс поднялся в седло, подвинув девушку немного вперёд, перекрестился, вздыхая, и лихо пришпорил коня...

...Повозка громыкала и подпрыгивала, не давая всадникам на узкой тропе себя обогнать. Бальтер на козлах озирался по сторонам, выбирая удобное место для съезда с тропы. Полянка на предстоящем повороте ему приглянулась. Всё, пора!

Экипаж метнулся влево и сошёл с тропы. Преследующие кельруты радостно завопили, полагая, что возница потерял управление. Лавируя между редкими деревцами, они начали брать повозку в кольцо. Затаившийся на сиденье лейтенант тихонько охнул и приготовил оружие. Повозка прокатилась ещё некоторое расстояние, прежде чем её сумели остановить. Лидинг подъехал ближе, сердцем предчувствуя какой-то подвох. Так и есть! На козлах сидел их беглый узник, а внутри экипажа – кесарский лейтенант!

Со стороны тропы, закрытой от глаз лысым пригорком, донёлся цокот копыт. Лидинг побелел.

– На тропу... Все! Живо! – взревел Лидинг, брызгая слюной и безумно вращая глазами на своих подчинённых. – Живо! Перехватить проскакавших всадников! Быстро! Поймать девчонку!..

Выхвативший ятаган Бальтер, исторгая звериный вопль, молниеносно рассёк одному из окруживших его кельрутов горло. Это был сигнал для лейтенанта. Отбросив сапогом загораживающего дверной проём кибитки кельрута, тот пружиной выскочил из экипажа и поднырнул под лошадиные брюха. Треск распоротой подпруги, – и всадник, неловко взмахнув руками, рухнул с коня вместе с седлом. Бальтер тоже не зевал, проделывая то же самое с другими.

– На тропу, скоты! Скот, Рутгар, Пирс, Цекус, разберитесь с пленниками! Остальные – в погоню! – срывая голос, проорал Лидинг.

Взмыленные от погони лошади понесли кельрутов во главе с Лидингом назад на тропу. Четверо оставшихся, спешившись, бросились на лейтенанта и Бальтера. Первым же ударом рослого кельрута лейтенант был повержен. Сабля противника глубоко вошла ему в горло.

Бальтер отбивался, уворачиваясь от града ударов. Лохмотья мгновенно превратились в мокрые кровавые тряпки, но удалось убить одного из нападавших и серьёзно ранить второго, прежде чем удар сапога в грудь опрокинул на землю. Нависший над ним кельрут яростно зарычал, занося ятаган. Бальтер успел откатиться, удар обрушился на землю в одном дюйме от головы. Сжав до боли зубы, он бросил всё тело вперёд, всаживая лезвие в брюхо противнику. Тело обрушилось на него, заливая кровью. Последний из оставшихся кельрутов взвыл от злости и пронзил насквозь труп своего товарища. Бальтера он почти не задел, тот вовремя успел извернуться и метнуть во врага свой поясной кинжал. Кельрут схватился за пронзённую грудь и упал навзничь...

Бальтер с трудом поднялся. Конечности подрагивали от перенапряжения, его шатало. Многочисленные порезы, но ни единой серьёзной раны! На этот раз ему здорово повезло.

...Понукая лошадь пятками в бока и раскачиваясь от усталости, Бальтер медленно ехал по редколесью, вдоль тропы. По тропе слишком рискованно: могли встретиться кельрутские всадники, возвращавшиеся назад ни с чем. В том, что Мивс и его спутница оторвались от погони и невредимыми добрались до Кесара, Бальтер был уверен. Лидинг упустил слишком много времени. Вскоре навстречу стали попадаться лошади без наездников, некоторые волочили за собой зацепившиеся за стремяна трупы кельрутов. Очевидно, их встретили у потайного хода в замок и дали бой.

Долго раздумывать над этим не пришлось: поднявшись на холм, Бальтер увидел место сражения и множество кесарских солдат. Бой случился недалеко от стен замка, в расселине скалы, надёжно прикрывавшей «коридор» от проникновения врагов с флангов. Глотающий из фляжки ром человек в распоротом мундире приветливо окликнул Бальтера. Это был Мивс, едва живой, но сохранивший в глазах огонь.

– С госпожой всё в порядке! – крикнул он ему и приказал окружавшим его офицерам:

– Позаботьтесь о его ранах! Это он спас жизнь госпоже Лиз... Хм... заговорённый какой-то! Заговорённый...

...Бальтер с большим облегчением наконец-то отделался от своего благодарного слушателя. Порядком захмелевший стражник долго с ним прощался и, наконец, вывалился из дверей трактира. «И мне пора!» – подумалось Бальтеру. Близилась полночь. Он шумно поднялся из-за стола. К Мёртвому вязу надо успеть вовремя.

Внешние стены замка по периметру не патрулировали. Это было бы излишеством: ни единой лазейки или намёка на неё нет и в помине. Разумеется, с башен вёлся неусыпный контроль, но у самой стены можно было спокойно прокрасться к Мёртвому вязу, не попадая в поле видимости часовых. Бальтеру удалось это без особого труда, а вот как доберётся до места встречи его возлюбленная, минуя многочисленные посты и стражу, он представлял себе смутно. Догадка, терзавшая воспалённое воображение, оказалась верной: Лиз возникла у него за спиной бесшумно, как призрак. Бальтер вздрогнул и отшатнулся.

– Это всего лишь я, любимый! – горячий шёпот Лиз звучал ласково и призывно. – Пойдём же скорее! Нас могут заметить!..

Бальтер осторожно шагнул ей навстречу и почувствовал, как её прохладная рука коснулась его ладони и потянула за собой. За шагом шаг, Лиз отступала в тень крепостной стены, увлекая за собой Заговорённого. Казалось, что девушка уже упирается спиной в каменную кладку стены, но обступающий мрак всё поглощал и поглощал её фигуру. Бальтер внутренне содрогнулся, представляя, что имеет дело с бестелесным привидением, проходящим сквозь стены, но наконец различил в кромешной тьме потайной проход в стене, в ширину и высоту немногим превышающий размеры среднего человеческого тела. Бальтер бесшумно проскользнул вслед за девушкой и услышал скрип поворачиваемого рычага. Тяжёлая каменная плита закрыла проём в стене. На секунду повисла гробовая тишина.

– Лиз, ты где? – взволнованно прошептал Бальтер, на ощупь отыскивая во мраке руку своей спутницы.

Его губы тут же были запечатаны страстным поцелуем, девушка повисла у него на шее, крепко прижимаясь своим молодым упругим телом. Заговорённый ответил на поцелуй, и дыхание Лиз заметно участилось.

– Пойдём! Ночь... такая короткая!.. – шёпот обжёг ухо Бальтера.

Девушка стремительно и бесшумно влекла его по коридору, окутанному мраком. Поворот, ещё один... И Бальтер с ужасом осознал, что они с возлюбленной оказались в лабиринте среднего яруса замка. Он остановился, как вкопанный, и выдернул свою руку из ладони Лиз.

– Чего же ты Бальтер? Пойдём! Пойдём, доверься мне! – она опять стремительно повлекла его за собой, поворачивая то в одно ответвление коридоров, то в другое. Запомнить маршрут в такой тьме было просто невозможно. Заговорённый растерянно вертел головой, едва поспевая за девушкой. Тяжёлый спёртый воздух саднил в горле, пахло пылью, сыростью и затхлостью. Казалось, лабиринту не будет ни конца, ни края...

Но вскоре путь по тёмным тоннелям лабиринта закончился в более просторном сухом коридоре, освещённом редкими факелами в специальных настенных пазах. Лиз остановилась, напряжённо прислушалась к тишине, освободила руку Бальтера:

– Здесь почти не бывает охраны, но мы слишком близко от покоев моего отца, – прошептала она, – надо быть очень осторожными...

Бальтер крался за Лиз шаг в шаг, насторожённо оглядываясь по сторонам. Сердце его едва не выпрыгивало из груди: они миновали лабиринт и находились в верхнем ярусе замка Кесар... За проникновение сюда любого ждали самые тяжкие предсмертные муки в пыточной камере Вилиана и жутчайшая казнь!

– Мой отец, должно быть, уже крепко спит, – шепнула Лиз, приостановившись напротив огромных дверей, обитых листами червлёного золота и украшенных драгоценными камнями. – Это его покои. Он никого не допускает сюда, даже своих телохранителей...

Бальтер поспешно кивнул и двинулся вслед за девушкой дальше, не отрывая благоговейного взгляда от величественных дверей опочивальни самого императора Вилиана. Коридор шёл без ответвлений, изредка поворачивая то в одну, то в другую сторону. Наконец, они остановились ещё у одних дверей. Это были покои Лиз.

Двери подались бесшумно. Любовники проскользнули в образовавшуюся щель и оказались в роскошной спальне, размерами уступающей разве что гостевому залу Вилиана. Девушка притворила за собой двери. Заговорённый не смел оторвать от неё взгляда.

– Сегодняшней ночью ты будешь только моим! – победоносно выдохнула Лиз, сверкая драгоценными камнями глаз, и всей грудью прижалась к Бальтеру,

запуская обе руки ему под рубашку. Он ответил ей поцелуем, сильными руками ещё крепче прижимая девушку к себе, и потянул с её плеч парчовое платье...

...Заговорённый безмолвно сидел на атласных простынях, залитых тёплой алой кровью. Что ж, пора исполнить, наконец, то, ради чего он столько времени уже находился здесь. Труп Лиз с перерезанным горлом куклой свешивался с кровати. Нож всё ещё находился в руках Заговорённого.

«Глупая кукла, – брезгливо подумал он, взглянув на мёртвое тело, – как она мне надоела!.. Но теперь всё это позади. Почти всё...» Собраться с духом было нелегко. Голову заполняли тоскливые мысли о Селине. Да, именно ради неё он должен это совершить! До императорских покоев рукой подать. Вонзить лезвие в безвольное спящее тело будет куда проще, чем пробраться сюда. О, сколько времени пришлось на это потратить!.. Слух о смерти Вилиана, несомненно, дойдёт до князя Геракта и он освободит Селину!.. Он должен выполнить своё обещание!..

Слишком дорого приходится платить за смерть одного человечки: сперва этот спектакль с экипажем, в котором Володьяр чуть не погиб на самом деле, потом бесконечные месяцы втирания в доверие к императорскому двору, встречи с этой... И всё это время его любимая мается в подземелье кельрутов, закованная в цепи!.. О, Селина!..

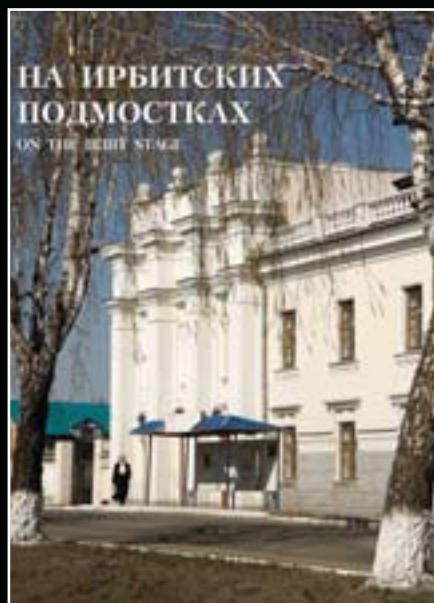
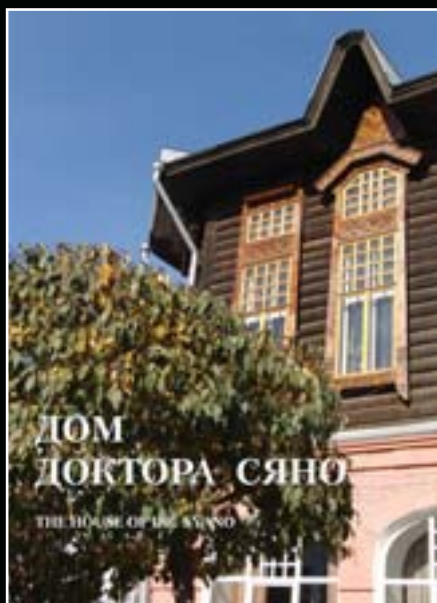
Володьяр не был глуп. Он прекрасно осознавал, что выбраться отсюда уже не сумеет. Пройти через лабиринт самостоятельно, не заблудиться и не попасть в западню не под силу ни одному смертному. Даже ему. А утром, обеспокоенные отсутствием императора, особо приближённые приведут сюда стражу... Но это теперь уже не имело значения.

Володьяр тяжело поднялся с постели. Бесмысленно терзаться никчёмными рассуждениями, которые только подрывают решительность и мужество. Пора идти и прикончить императора-пса, а там, глядишь, что-нибудь и придёт в голову!.. А может, даже удастся выбраться живым?! А что?! Ведь он же Заговорённый!

И убийца зашёлся приступом сдавленного хриплого смеха.

А что?! Он ведь Заговорённый!





Серия



**Национальное достояние
России**

